

## Воспоминание о Константине Сергеевиче Аксакове

«Сыны века сего умнее сынов света в своем роде» – и, среди многолюдной светской толпы, в бесконечной путанице житейских отношений, всякому приходится видеть оправданным на деле великий смысл этого всемирного изречения. «Сын века» хвалится постоянным успехом, сам век и всё современное общество становятся на его сторону, а «сын света» представляется еще каким-то жалким, смешным юродом. Когда-то еще, большею частью спустя много времени, разберут люди отличие света и истины от лживости временного успеха! Не рабство своему времени, не лесть и угодливость современника своей современности (эта порука временного успеха) составляют отличие «сынов света».

Нам невольно пришли на ум эти общие рассуждения, едва мы произнесли имя *Константина Сергеевича Аксакова*. Какое множество, быть может, умных людей, с высоты своего практического разума, считали его ребенком и даже дитей. Как они должны были забавляться его простодушною верою в людей и совершенным неведением тех так называемых практических истин, что известны даже весьма дюжинным умникам наизусть. Но как вся эта масса светских мудрецов пасовала перед ним, перед этим «младенцем на злое» именно ради его неумолимого и неподкупного нравственного чувства. Никакой сделки с совестью, никакого компромисса или способа уживчивости, *modus vivendi* кривды с правдой он не допускал. До сих пор приходится слышать и даже читать, при оценке личного характера Константина Сергеевича, много неверного, именно потому что проглядывают это главное его свойство. Впрочем, как литературные его друзья, так и противники единогласно сходятся в том, что это была чистейшая и честнейшая природа. Довольно припомнить хотя

бы теплые строки Герцена, написанные об нем сейчас по получении известия об его смерти в 1860 году на острове Занте.

Да! это была жизнь, это была и смерть совершенно особенная.

И теперь, стоя у надгробной плиты, где вычеканено *К. С. Аксаков*, с особенной живостью чувствуешь, как всё им говоренное и написанное было искренно. Даже самая полемика его, а порой прямо и бичеванье противоположных принципов, как они были незлобивы, праведны можно бы сказать. Ответственность за все свои строки, даже полемические, представлялась ему при жизни долженствовавшей быть именно такою, чтобы от них не отречься даже из-за могилы. Во всех его сочинениях это чувствуется сейчас.

Писанного он оставил после себя сравнительно немного; но вся его жизнь была непрерывная, живая проповедь. Это был один из тех общественных деятелей, чей личный характер, сам нравственный образ и весь поступок оказывают еще больше влияния, чем остающиеся после них писанные строки.

«Я ему руки не подаю», – сказал мне один раз Константин Сергеевич про человека весьма известного тогда в московском свете. Признаться, меня это удивило, именно потому что личность, о которой шла речь, пользовалась всеобщим внешним почетом; трудно бы было и избежать встреч в обществе именно с этим, бывшим тогда в славе, общественным деятелем. – «Я не знаю ничего безнравственнее светской нравственности», – продолжал, как бы в пояснение своей мысли Константин Сергеевич. – Случалось ли вам слышать такое общепринятое про человека выражение (именно только в свете оно могло родиться!): “это – разбойник, это безнравственный человек, *mais c'est un home tout à fait comme il faut*, руку ему можно подать”?»

«Я у нее не бываю и с ней не говорю», – точно так же сказал мне раз Константин Сергеевич про одну известную даму, и это меня удивило тем

более, что с ее мужем сам Константин Сергеевич был в постоянных живых сношениях.

Многим покажется странным, что один-единственный человек берет на себя не кланяться и не подавать руки такому лицу, которого носит на руках весь город. Но многим и приходится пожелать побольше странностей этого рода.

«Fausse honte! вот еще слово! – часто приходилось слышать от Константина Сергеевича. – У нас найдутся тысячи храбрецов, готовых лезть на пушки, но они спасуют пред малейшим искушением именно *fausse honte*'а! О, как надо всякому бороться с этим чувством! Если есть честное убеждение и сознание в том, что оно честно, надо идти с ним вперед; надо иметь мужество исповедывать его открыто, хотя бы презрительные насмешки сыпались кругом. Fausse honte – это глубочайшее рабство человека; такое рабство, никакое другое с ним не сравнится. Это гниль души. Fausse honte – понятие также совершенно светское. Оно именно могло выработаться только в бездушной, безнравственной среде. И я вообще не знаю ничего безнравственнее самого этого понятия: *свет*. Оно у нас не свое, оно пришло к нам с Запада. Это целый принцип пленительно-лживый. А не та ложь и не то зло страшны, которые уж с виду отвратительны и отталкивают от себя. Страшна та ложь, которая имеет в себе прелесть и демоническую силу обаяния. Опасно то зло, которое тянет и, как всякое художественное начало, пленительно. *Das Übel ist reizend*, недаром говорят немцы».

Читая в тогдашнем «Современнике» и в прочих модных журналах всякого рода пошлости о так называемых славянофилах, не верилось, наконец, самому себе и приходилось краснеть за себя, странно делалось всякому, сходявшемуся с кем-нибудь из этих людей лицом к лицу. Почему же ни от кого из них не слышишь чего-либо даже похожего на те общие избитые места, которые повальным хором тогдашней учености и журналистики выдавались за альфу и омегу их вероучения?! И, напротив

того, непременно, с первых же слов и с первой встречи, слышишь от каждого из них – запрос нравственности прежде всего и во главе всего. Притом и затрогивается он, этот неумолимый запрос, в таких разнообразных видах и по таким нечаянным поводам, что другим еще и самой уместности этого запроса тут бы и не приметить.

Раз вечером свел меня Константин Сергеевич в свой кабинет для прочтения одной статьи. Дом был на большой людной улице, и окна кабинета в нижнем этаже выходили прямо на тротуар. Письменный стол, освещенный лампой, казалось мне, должен был ярко выдаваться на улицу. «Не опустить ли шторы?» – невольно спросил я. «Зачем? – с живостью возразил Константин Сергеевич. – Вот если бы мы садились с вами за бутылки или играть в карты – тогда другое дело. Но тут рабочий письменный стол, тут сидят за книгами и тетрадями. Не вижу никакой надобности завешиваться от людей. Пройдет мимо какой-нибудь студент или другой кто, почем знать? Может быть, еще это наведет на добро кого-нибудь из проходящих».

Один раз пришлось мне просить Константина Сергеевича уделить несколько часов времени для выслушания одной рукописи; а к ней он относился и сам с живым участием. Он назначил мне быть на другой же день. Чтение началось с раннего утра и продолжалось часу до четвертого. Пред самым началом Константин Сергеевич оговорил в доме, что он будет занят и желающих видеть собственно его не принимать никого. Скоро раздался звонок, человек вошел в комнату и назвал фамилию приехавшего. «Сказать, что я занят и принять не могу», – отвечал Константин Сергеевич. В самом непродолжительном времени последовал другой звонок, потом третий. Человек по-прежнему входил с докладом. «Занят и принять не могу», – по-прежнему отвечал Константин Сергеевич. Не помню после которого звонка и доклада, я, наконец, не выдержал и спросил: почему бы не сказать в таких случаях общепринятого *дома нет*? «Очень жаль, что это общепринято, – с живостью возразил Константин Сергеевич, – но ни в

малых, ни в больших делах лгать не вижу надобности. Неужели не проще сказать: *не могу принять*, чем *нет дома*? Тем более что, если бы кому-нибудь встретилась теперь действительная необходимость меня видеть, мне было бы даже совестно лишить его этой возможности, да еще и солгав пред ним. Но вот, вы сами видите, нас никто и не беспокоит. Мне кажется даже, что, привыкнув к моему обычаю, то есть к тому, что я не отказываю фразой *дома нет*, сами посетители тяготятся теперь настаивать на непременно свидании, а это бывает при лживом ответе *нет дома*». Было и еще несколько звонков. После одного из них человек доложил фамилию одного из профессоров Московского университета, оговорив, что просят непременно принять хоть минуты на две. Константин Сергеевич, извиняясь за перерыв чтения, вышел к этому посетителю и даже менее чем чрез две минуты возвратился назад. «Вот видите ли, – сказал он сияющий, – мы и опять свободны продолжать чтение; такой маленький перерыв почти и не помешал нам. А я рад, что не отказал в приеме: профессор хлопочет об одном бедном студенте, дело идет об его определении, а оно и вовсе не состоялось бы, если бы я не дал сейчас себя видеть; теперь же дело кончено, и молодой человек устроен. И, поверьте мне, люди чутки к правде более, чем обыкновенно думают. Откажи я ему под предлогом, что меня дома нет и потом выйди к нему по его усиленной просьбе, он продержал бы меня гораздо долее, чем теперь, когда ему сразу сказали, что я дома, но занят».

Мне припоминается рассказ очевидца о диспуте Константина Сергеевича при его магистерской диссертации: «*Ломоносов*». Это рассказ Ф. М. Д<митрие>ва, который в шестидесятых годах и сам занимал кафедру в Московском университете, а тогда лишь готовился к тому и был накануне своей собственной магистерской диссертации. На все возражения – рассказывал этот очевидец – Константин Сергеевич отвечал живо и ничего не уступал из собственных тезисов. Но после одного сделанного ему замечания магистрант вдруг воскликнул: «ах, какое дельное

возражение!», и это с такой детской искренностью и с таким невольным движением руки, поднесенной к волосам, что вся аудитория разразилась смехом. Ясно было, что не личное самолюбие, а самый предмет спора занимал диспутанта.

Приходилось часто слышать Константину Сергеевичу даже от своих друзей, что, с своим собственным прямодушием, он слишком доверчив к прямодушью и всех других, – *«ловится на одну и ту же удочку»* по одному памятному для меня отзыву. Приведу кстати и самый анекдот, напомнивший мне этот отзыв. Тем более уместно будет здесь это маленькое отступление, что выступает в рассказе сам автор «Семейной Хроники», старик Сергей Тимофеевич Аксаков, отец Константина Аксакова; а они всегда были вместе, редко можно было видеть одного без другого, и, по крайней мере, в моих собственных воспоминаниях – они всегда неразлучны и всегда восстают слитно. За хлебосольным столом С. Т. Аксакова, кроме многочисленной семьи, обедало обыкновенно много и знакомых. Не вдруг расходились и разъезжались после обеда; все располагались частью в гостиной, частью в зале или еще в другой сборной комнате возле столовой. За кофеем продолжалась беседа; длилось своего рода *far-niente*, и вдруг иногда на две на три минуты импровизировались тут какие-нибудь «маленькие игры». Старик – и тогда уже неразлучный с большим зеленым зонтиком на глазах, но еще бодрый, живой и не страдавший своим последним мучительным недугом – также не уходил к себе, а оставался где-нибудь тут же курить свою трубку. (Правильнее сказать, это была не трубка, а длинный черешневый чубук с янтарным мундштуком и с металлическим наконечником – совсем как быть трубке, только не табак крошился туда, а вставлялась сигара.) Между вечером и светом, раз в такое именно *far-niente*, стали *«играть в мнения»*. Игра, как известно, состоит в том, что один из присутствующих удаляется из круга; на маленьких билетиках, тут же десятками нарезанных из листа бумаги, всякий пишет об нем какое-нибудь «мнение»; после того как все напишут

свое – его призывают. Тогда один за другим вынимаются билетки по очереди и прочитываются вслух; слушатель должен угадать хоть одно из них: кто про него написал что? Вот один и удалился из нашего круга; по возвращении он выслушал себе: «иронист!.. вовсе не занят собой!.. имеет вид утомленного!.. для всех, кто его не знает, кажется он холодным эгоистом, а для всех, кто его знает – глубоко-любящим человеком, и вся его беда в том, что очень немногие его знают» и пр. и пр. Слушатель таких комплиментов себе (или, пожалуй, критик) угадал, наконец, одно из «мнений»; теперь пришла очередь выйти из круга самому Константину Сергеевичу. «Кто, кто ушел, – Константин, да? Об нем собирают мнения? – спросил вдруг старик, казалось, уже дремавший в уголке со своею трубкой. – Дайте и я напишу об нем свое мнение». Тут же на одном из билетиков Сергей Тимофеевич быстро черкнул карандашом, сложил как все прочие и опустил в общую урну. Когда наконец все билетки были собраны, и Константин Сергеевич возвратился в наш круг отгадывать, кто из нас что написал об нем – нельзя было на него смотреть без сдержанного смеха. Точно не в шутку тут об нем шло дело! С какою-то неподдельной серьезностью выслушивал он чтение билетиков, с какою-то еще детской лукавостью обводил всех присутствующих, что называется, вылупленными глазами. И вдруг мгновенно... как только прочитали на одном билетике: *ловится на одну и ту же удочку...* с быстротою молнии указал на своего отца, окликнув еще его ласковым дружеским именем, каким привык его называть с детства, как только начинал лепетать его язык, и которым уже не переставал называть его и по конец жизни, особенно в кругу близких. Взрывом дружного веселого смеха так тогда и кончилась игра, задуманная нами в час между вечера и света. Эта, если так можно выразиться, взаимная меткость и отгадчика и загадавшего загадку донельзя всех рассмешила. «*Ловится на одну и ту же удочку*» – с тех пор часто приходилось это выслушивать Константину Сергеевичу при разных случаях.

Зашел как-то разговор об одном, не совсем обыкновенном студенте. Кончив курс на филологическом отделении, он заявил о своем желании поступить еще на медицинский факультет. Это несказанно обрадовало Константина Сергеевича, он расточался в похвалах молодому человеку и ставил его в пример истинной любви к науке. Один из собеседников выразил сомнение на этот счет и объяснял дело гораздо проще: студентам такого рода, утверждал он, предоставлены разные выгоды и льготы; кроме того, выдаются очень хорошие стипендии; это будто и побуждает иногда, по окончании одного факультета, переходить еще на другой. – «Я, по крайней мере, с своей стороны не думаю так, – отвечал Константин Сергеевич весьма серьезно, – добрым хорошим делам всегда будет вернее приписывать и доброе хорошее побуждение».

Этот маленький случай невольно напоминает ту восторженность, с какою он говорил о великих исторических делах, совершенных по чистейшим человеческим побуждениям – и то негодование, с каким он относился, когда те же великие деяния извращали наизнанку. Французского народа он не любил. «Это беднейший язык, это ничтожнейший народ. Его буржуазный *bon sens* только посредственности по плечу», и едва нападал он на эту тему, каждый раз не мог не повторить вечно одного и того же. – «Иоанна Дарк – вот единственная личность в целой французской истории, перед которой нельзя не благоговеть, перед которой человечество и благоговееет. И что же сделала Франция со своей героиней? Она не только выдала ее своими руками на костер смертельным врагам, но еще в лице своего национальнейшего поэта или по крайней мере писателя втоптала ее в грязь и кощунственно насмеялась над нею. Ибо если и можно кого-либо из французских писателей назвать выразителем своего народа, то, конечно, Вольтера». И непременно, вслед за тем, переходил он к Иоанне Дарк Шиллера и восторженно декламировал его апофеозу этой героини и проклятия низкой природе грязных людей, им



же свойственно чернить всё великое и святое. Как хорошо звучали в его устах эти благородные строфы:

Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen,  
Und das Erhab'ne in den Staub zu zieh'n;  
Doch fürchte nicht! Es giebt noch schöne Herzen,  
Die für das Hohe, Herrliche entglüh'n.

– Чужой народ воздал честь и отдал справедливость этой светлой личности, – уже с энтузиазмом говорил Константин Сергеевич, – потому что он был способен оценить ее высоту. То, что немцы зовут *etwas Ernstes* – вот чего недостает целой французской нации.

Шиллер был любимейший поэт Константина Сергеевича; именно нравственный, душу возвышающий элемент его поэзии он ценил высоко. Свою предпочтительную любовь к Шиллеру он запечатлел множеством переводов из этого поэта (они и были в свое время напечатаны) и любил часто произносить наизусть его стихи. А в свое путешествие по Германии он посетил все города и в них все дома, отмеченные присутствием Шиллера.

Я вообще не могу припомнить беседы Константина Сергеевича, чтобы она не была оживлена в то же время целым потоком стихов из его любимейших поэтов или и собственных импровизаций. При этом какое-то постоянное телесное и душевное здоровье, какое-то непрестанное веселие духа и бодрость живого сердца отражались на его несказанно-добром и как бы ребячески улыбающемся лице. Широкий интерес науки и особенно русской истории, интерес художественный, одним словом интеллектуальный интерес, притом с вечным и неумолимым запросом нравственного интереса в основе и во главе всего – это была его сфера, его стихия.

Впрочем, само время, когда воспитывался и складывался литературный характер Константина Сергеевича, тридцатые годы, было именно тем временем, когда всё мыслящее общество жило у нас почти

исключительно художественно-литературным интересом. К тому же, дом автора «Семейной Хроники», его отца, славился искони как своего рода центр, где сходились лучшие писательские силы, – в такой среде как было и не сложиться литературному характеру? Это время заслонено теперь от нас бурным периодом социальных реформ; наша современность кишит экономическими и политическими вопросами; тот почти исключительно художественный и литературный период, своего рода *золотой век* в жизни московского общества, еще ждет своего летописателя.

Н. И. Костомаров, в своей известной речи «об исторических трудах по русской истории К. С. Аксакова», сделал чрезвычайно верную заметку. Отношение и любовь Константина Сергеевича к русской истории были совершенно своеобразные, говорит он, и вот это-то «*своеобразие*» давало ему возможность разгадывать многие стороны и явления русской жизни, недоступные для других. Этот своеобразный аксаковский взгляд г. Костомаров зовет еще и «*своенародным*».

В чем заключалось такое «своеобразие» Константина Сергеевича – на это и должен дать по возможности ответ всякий, пишущий об нем свои воспоминания.

Начать с того, что он любил русскую деревню, рос в ней, и весь сельский быт был ему свой. В какой мере кабинетный ученый (этот, выросший среди казенных школ, отвлеченно-культурный космополит) должен превратно судить о русском языке, о русском народе и вообще о русской истории: тому, к сожалению, в нашей ученой литературе много примеров. Напротив, кому сельский народный быт знаком от пеленок; кто вместе с материнским молоком всасывал неуловимый и неисследимые влияния народности, прежде чем об ней даже думать; кто с детства напитывался родными впечатлениями своего собственного народа от всей окружавшей его действительности – тому с детства же доступен быт и язык этого народа по живому откровению непосредственного чувства и дан ключ к разумению его.

Константин Сергеевич, которому итальянские виды не заменили картин родной природы, которому колыбельный романс французской или немецкой бонны не заменял русской колыбельной песни и которому ни один иноземный язык (при всем их знании) не заменил родной речи, Константин Сергеевич был особенно счастлив тем, что родился и воспитался в совершенно-русской семье, в русском доме и получил прямо-русское образование. А это составляет большую редкость еще и в наши дни. Когда он поступил в Московский университет, его ум и сердце, не иссушенные в четырех стенах казенного заведения для покорного и машинального воспитания каких угодно, хотя бы и чуждых, учений, вовсе не были белым листом бумаги, на котором пиши что угодно. Нет! Уж там крепко засело свое. Университетская наука только укрепила сознательно в нем всё то, что прежде было лишь его непосредственным чувством; всю жизнь он и остался ему верен до конца.

Не страдай наше общество еще и теперь, а особенно тогда, своим известным историческим недугом «раздвоения», или прямо сказать расколом; не будь в нем продолжающегося и теперь, а тогда еще сильнейшего разрыва с народом: конечно, и представитель «русского направления в жизни и русского народного воззрения в науке» был бы избавлен от горькой доли отыскивать свои идеалы лишь в прошлом, а если в современности, то исключительно в одном простонародье. Но в тогдашнее время, при полном разрыве верхних классов с народом (не забудем существовавшего крепостного права) и при всеобщем антагонизме «публики и народа» такая односторонность составляла у нас роковую неизбежность. В этой невольной односторонности заключалась своего рода «идиосинкразия» славянофилов всех вообще, а Константина Аксакова по преимуществу. Так как тогдашнее общество было в разрыве с народом, то приходилось еще, любя народ, быть как бы в разрыве с тогдашним обществом. Это понятно.

Сочувствуя русской сельской природе, а не общепризнанным живописностям вроде берегов Рейна; русскому серому осеннему деньку (которые так любил Пушкин, заметим в скобках), а не непременно безоблачной синеве Кастелламаре; чуждаясь идеалов байроновско поэзии или жорж-зандовского романтизма; любя всё свое и живя своим родным, естественно было находиться в разрыве с тем полурусским обществом, где царили – вверху: отвлеченно-культурный космополитизм, возведенный в принцип и систему, а под самым верхом: смесь французского с нижегородским. Чтò это было за общество тогда? Оно иначе не лепетало, как по-французски; не признавало иных красот природы, кроме утопанных модными ботинками берегов Рейна; оно бредило иноземными идеалами; а всё свое, в котором, впрочем, ничего и не смыслило, считало за что-то отреченное и в собственном смысле за *mauvais genre*. Всё это уже кажется пошлым в наши дни; но не надо забывать, что именно эта пошлость господствовала в полной силе в те времена, которые совпадали с юношеством Константина Сергеевича.

Бесспорно, было бы непростительной односторонностью утверждать, что единственно лишь в простом народе, прямо только в русском крестьянстве, заключаются перлы человечества; но бесспорно и то, что симпатии русского человека, для которого современное общество представляло смесь французского с нижегородским, должны были обратиться именно на эту среду. Именно здесь, хотя и в грубом, убогом виде, он наконец угадывал свои собственные идеалы, и весь быт и строй признавал родным и близким себе, а не заимствованным от немцев. Это преимущественное поклонение крестьянству, прозрение русских вселенских начал как бы воплощенными исключительно и наиболее лишь в образе сельского мирянина (это «всечеловека», по позднейшему выражению Достоевского) составляли в своем роде увлечение Константина Сергеевича или, как мы выразились, идиосинкразию его. Он охотно признавался, что сам Ломоносов, герой его магистерской

диссертации, тем особенно и дорог ему, что вышел из недр народа, из крестьянства. Сельское мирское устройство, житье села миром, соборное начало свободного народа и живой союз всех меньших миров в один великий мир целого русского народа, причем сам он себя и не зовет иначе, как только «православным христианством» – вот что было дорого и заветно для Константина Сергеевича в его симпатии к коренному русскому населению и чем он наиболее дорожил, вполне сознательно, в его быте. Такой быт, прямо сказать, неотделимый от быта самой Божьей Церкви на земле, был ему *свой*. Это же и есть быт русский, преимущественно русский, не искаженный и не затемненный никаким, чуждым славянскому духу, идеалом. Многие ли способны понимать его еще и в наши дни? На место вселенского духа, искони свойственного русскому народу, его лжеподобие, безнародный дух космополитизма и сокрушение коренных основ русской народности, не почитаются ли еще и в наши дни верхом не только светской, а даже и государственной мудрости?

Про веру Константина Сергеевича, про его живое чувство своей принадлежности к Церкви – можно вообще сказать то же самое, что было сказано Ю. Ф. Самариним относительно Хомякова. «Он живет не *при* Церкви и не *с* Церковью, а он живет *в* самой Церкви». Это почти то же, что говорит и сам Константин Сергеевич по поводу житья не *при* народе, а *в самом народе*. Любя народ, естественно он глубже других чувствовал и всю фальшь наших мнимых «народолюбцев». Это те, когда-то бывшие в моде, лживые гуманисты, которые взирали на русский народ с торцовой мостовой Невского проспекта в *rinse-nez* на носу, и им чудились о русских крестьянах и крестьянках небывалые страдания; а страдание настоящее – полное отчуждение от них самих этих господ народолюбцев – даже не примечалось. Он метко заклеил таких гуманистов известным стихом: *страдать не с ними, а за них*. Он страдал и радовался заодно с народом, ибо, прямо сказать, жил в народе. При нормальном развитии общества это и составляло бы совершенно нормальное явление; вина уж не его, а

именно самого общества, если всё такое казалось эксцентрическим. Возвращение к родному быту и к коренным русским началам, действительно, составляет для всех нас некоторый подвиг самосознания; это еще не дается нам непосредственно. В Константине Сергеевиче это чувствовалось весьма живо. Если он одевался по-русски, предпочитая кафтан и мурмолку фракку и цилиндру; если рано вставал к заутрени, а не спал, как Онегин, «утро в полночь обротя», конечно, он это делал от души и вполне сердечно; но в этом еще заключалось и требование его ума. Всё такое освещалось у него еще и сознанием: *ничем не розниться от своего народа*. Заговаривали ли с ним о соблюдении или несоблюдении постов, о посещении или непосещении церковных служб – он поражал всякого особенным глубокомыслием и свободомыслием на этот счет; но сам попадал к обедне или к заутрени не только по одним годовым праздникам и соблюдал посты, кроме установленных в разное время года, еще и по средам и по пятницам. И это столько же по живому чувству своей принадлежности к родной Церкви, которой был предан всем сердцем, сколько еще именно по требованию своего ума: *ничем не розниться от народа*.

Прибавить надо к тому, что тогда господствовало в полной силе, уже покосившись с своего апогея, крепостное право. Некоторое *prédilection* в пользу крестьян просто входило в моду. Заигрывать на этой струнке составляло уже излюбленную тему всех русских людей, почитавших себя либералами и передовыми. Хотя эти своеобразные либералы не брезгали даже до последних дней заводиться «крепостными метрессами» или продавать «населенные» имения с молотка для жительства за границей, или спаивать народ, устраивая для него кабаки и занимаясь винокурением или даже откупами, – они громче всех начинали кричать о «горькой русской долюшке» и уже плодили некоторый фальшивый сентиментализм в пользу «низшей братии» и «слияния сословий». Пусть в славянофильском тогдашнем увлечении русским крестьянином и было,

пожалуй, какое-нибудь преувеличение, – во сколько же раз оно возвышеннее и чище в своем источнике, а главное и справедливее в корне, в существе дела – против всей этой сентиментальной фальши наших «западников», начавшейся еще с сороковых годов и процветшей окончательно пышным цветом в шестидесятых!

Нечего и говорить, что крепостное право было противно Константину Сергеевичу. Он же, как действительный историк, хорошо знал, что это – цветок новой России, после-реформенной. Известно, что задолго до эмансипации крестьян, как лично со стороны Константина Сергеевича, так и со стороны многих единомышленников этого кружка, составлялись и ученые изыскания, и записки для представления правительству об отмене крепостного права в России.

## II

Поудить вместе с автором *«Записок об уженье»* у него в подмосковной, посетить то самое Абрамцево, где написаны эти Записки, потом и *«Записки ружейного охотника»* и *«Семейная Хроника»*, – давно мне этого хотелось.

В тот год Константин Сергеевич издавал *«Молву»* – еженедельный листок, выходивший по субботам. Проводя лето с отцом в Абрамцево, он каждую неделю перед выпуском номера приезжал в город; у меня и было условлено, что я соберусь в Абрамцево с ним. Но юноша, едва кончивший университетский курс – каким я был тогда – не мог располагать своим временем вполне свободно. Проводя лето в деревне же, но в другой губернии, я только изредка попадал в Москву, и задуманная поездка всё не удавалась. Наконец, один раз мне посчастливилось. Дело, за которым я приехал, было кончено; несколько дней впереди оставались в полном моем распоряжении; к тому же от кого-то из знакомых я узнал еще с утра, что Константин Сергеевич в Москве, остановился там-то и вечером опять уезжает в Абрамцево. Больше я не захотел откладывать.

...«Как это вы меня здесь разыскали!» – удивился он моему неожиданному появлению, скорей вырвал толстую сигару из зубов и, по своему обыкновению, приветствовал троекратным русским поцелуем.

– Но я еще с тем, чтоб ехать с вами в Абрамцево.

Ахнул Константин Сергеевич и опять прижал к своей груди. Я всегда дивился, как он сильно и крепко обнимает, а если руку жмет, точно оторвать хочет. «Как я рад, что ваше давнишнее обещание и мне и батюшке вы решились, наконец, привести в исполнение. Очень рад, но...» – и вдруг замолчал, а на его лице змеилась детски-лукавая улыбка.

Ясно, что не нездоровье в доме или что-нибудь серьезное смущало его за нашу поездку; но что именно, я не понимал.

«Вот подите! Надо же было так случиться! – продолжал он уж с истинным горем. – Каждый раз приезжал я – а езжу аккуратно всякую неделю – в фэзтоне; и так удобно и покойно было бы вам доехать со мною. Как нарочно нынешний раз». – И опять смолк, а та улыбка уже во всю ширь заиграла на его лице. Именно так смеются дети, уличаемые сотый раз в одной и той же шалости.

Я наконец спросил: что же такое? «Я на простой телеге приехал!» – совсем досказал он свою уличенную шалость.

Для меня в том не было помехи; я прямо и высказал ему это. «Нет! – отговаривал он очень серьезно. – Отложимте до другого раза. Я понимаю, нынешняя избалованная, изнеженная молодежь – не виню вас лично, а говорю вообще про современную молодежь – даже не вынесет варварской тряски. Притом, смотрите, какая погода! Дождик кругом».

Я сослался наконец на то, что я охотник; мол, нашему брату мало ли приходится мокнуть под дождем и трястись на телеге по пням да по болотам! Это последнее, по-видимому, его совершенно убедило.

«Ну, очень рад, когда так!» – и мы ударила по рукам. Навечер было условлено сойтись в типографии Семэна, где печаталась его «Молва»,



прямо оттуда сесть и ехать. «Только смотрите же, – сказал он уж в дверях на прощаньи, – я вперед говорю: я слагаю с себя всякую ответственность».

Это последнее было сказано так серьезно, что я даже рассмеялся. Но вечером, трясясь по грязной мостовой бесконечных улиц, тускло освещенных масляными фонарями, приходилось действительно сознаться, что прогулка задумана не совсем впору. Хотя были первые числа июля – на дворе стояла ни дать ни взять осень; моросил мелкий дождь, и всё небо заволокло тучами: просвета ниоткуда. Подъехав к типографии Семэна, я уже застал там злополучную виновницу, смутившую Константина Сергеевича за нашу поездку. Грузная, полновесная, огромная телега, запряженная парой доброезжих коней, стояла на мостовой у самого крыльца. Деревенский кучер мокнул под дождем, распустив над собою большущий зонтик. Вся типография множеством ламп ярко сияла на улицу; все ее окна были растворены настежь. Я уже видел там веселое, живое лицо Константина Сергеевича, и до меня доносился его громкий, бодрый смех. Он сидел под самым окном с сигарой во рту и, пуская целые клубы дыма, марал корректурные листы, спешил последними распоряжениями насчет исходящего номера «Молвы». Едва завидел меня и уж стал прощаться с почтенным хозяином любимой типографии, потом и со всею типографскою братией, приставленной собственно к его газете; они провожали его до дверей.

Мы стали усаживаться. Кучер передал ему тот большущий зонтик, а он силою вручил его мне. «Ха-ха-ха!.. – смеялся он истинно-ребяческим смехом. – Я люблю дождь. А вы совсем другое дело»... Мы поехали обычным путем троицких богомольцев в Крестовскую заставу. Сейчас за нею будет село Алексеевское, Ростokino, Малые Мытищи, а там и Большие. Дождь, накрапывая всё сильнее, так и барабанил по зонтику.

«Возьмите мой азам, – сказал Константин Сергеевич; – не слишком ли легко, гляжу, вы одеты?» И он мне предложил что-то вроде плаща или бурки из такого, казалось, плотного сукна, что его не проймет никакой

ливень. Я, признаться, обрадовался такой великодушной уступке и сейчас же закутался с головы до ног. Сам Константин Сергеевич, впрочем, и не думал прибегать к «азяму»; этот плащ лежал свернутым на дне телеги под сидейкой; только для меня он об нем и спохватился. За заставой сделалось уж совсем темно; холодно и ветрено было в поле.

Я вспомнил, что всего какой-нибудь год тому назад по этой самой дороге я совершал хождение пешком к Троице с толпой университетских товарищей; эти путешествия тогда были в обычае у нас. Стал припоминать Константин Сергеевич и свои собственные хождения к Троице; потом рассказывал про такие же пилигримства еще Языкова, Елагиных и Киреевских. Один раз паломники положили на весь путь уговор между собою: оставлять по импровизованному стихотворению на каждой стоянке. Языков, когда пришли в Большие Мытищи, сказал свой экспромт на громовые колодцы.

Отобедав сытной пищей,  
Град Москва, водою нищий,  
Знойной жаждой был томим.  
Боги сжалились над ним.  
Над долиной, где Мытищи,  
Смеркла неба синева;  
Вдруг удар громовой тучи  
Грянул в дол – и ключ кипучий  
Покатился – пей, Москва!

Вторая стоянка была в селе Пушкине. Здесь жила в то время кормилица «Наследника», то есть покойного Царя-Освободителя. Она была отсюда родом. Молочный сын, как известно, здесь, в ее родном селе, поставил ей в благодарность хорошую крестьянскую усадьбу. Ее и имели обыкновение посещать странники. Языков именно на это и сказал свой экспромт в селе Пушкине.

«Здесь в Пушкине мы посетили дом», – следовало описание той, чья грудь вскормила надежду России, и всё венчалось заключительным стихом:

чьи белы руки  
Играли будущим Царем.

Переходя от одного экспромта к другому, Константин Сергеевич продолжал уже восторженные декламации из всех своих любимейших поэтов и из собственных своих стихотворений.

«Неужели, однако, вы не замечаете дождя?» – невольно прервал я его импровизацию, чувствуя, что холодная струя закрадывается ко мне уж под галстух. Сам непромокаемый азам обратился в мокрую тряпку.

Только рассмеялся Константин Сергеевич! Его радовало, что сам Овер, тогдашняя медицинская знаменитость, за его железное здоровье прозвал его печенегом. «Смолоду, – говорил он, – приучал я себя не быть неженкой, не бояться ни простуды, ни какого-либо расстройства, одним словом ничего, свойственного нынешней хилой молодежи. Наконец, больше того: именно в природе, среди ее стихий и в борьбе с ними, я себя чувствую особенно хорошо. Верите ли? Сама эта тряска телеги меня только *сбивает*: крепнешь от нее. Рессорный экипаж нежит, балует; а телега *сбивает*. Так и дождь, стужа, всякое неудобство, от них только крепнешь». И говоря это, он успевал еще, как в самую тихую погоду, закуривать налету от спички свои сигары.

Я дал ему заметить, что не налюбуюсь, как славно работает наш коренник! Будто свою собственную честь видел добрый конь в том, чтоб торопиться не выбиваясь из сил: вез добросовестно и благоразумно. И мне было приятно услышать в ответ, что это конь доброго завода, выведенного еще прадедушкой Константина Сергеевича в степях Оренбургской губернии, а тогда Уфимского наместничества. Мне невольно вспомнились степные стоянки при езде *на своих*, описанные в «Семейной

Хронике» и в «Детских годах Багрова внука». Вот что за добрый конь везет меня, думалось мне потом уж всю дорогу: потомок тех самых прародителей, героев еще той степной езды!

Была совсем ночь, когда мы стали приближаться к Пушкину; дождь лил как из ведра. Константин Сергеевич обнадеживал меня близким ночлегом. Обыкновенно он делал всю дорогу, почти не останавливаясь, а только выкормив лошадей. Теперь, нарочно для меня, предполагалось сделать привал в Пушкине на знакомом постоялом дворе. Хозяева ему знакомые люди и дадут всё, что нам нужно. Признаться, я обрадовался услышать о ночлеге. На мне не было сухой нитки; зонтик давно пришлось отложить в сторону, он только пуще мочил своею собственной сыростью; а напитавшийся дождем азам давил меня пудовою тяжестью. Когда, наконец, мы остановились у желанного постоялого двора, я насилу выбрался из телеги.

Комнатка, отведенная нам, ничем не отличалась от всех таких комнат на всех тогдашних постоялых дворах. Два окна, в простенке тусклое зеркало, два стула и один стол чурбанного изделия; наконец, диван, крашенный под красное дерево, с деревянною спинкой и деревянными остроугольными ручками; сидение было из волосяной материи и жестко как кирпич. В довершение всего, жара и духота нестерпимые. По соседству едва ли не приходилась кухня. По крайней мере, печь, выдававшаяся здесь в углу и топленная из другой комнаты, была накалена как бы впору только зимою в самые крещенские морозы. Но после тридцати верст под холодным ливнем я обрадовался даже и здешней духоте. Сам Константин Сергеевич, как ни в чем не бывало, был жив и бодр и весел по-прежнему. Он распорядился, чтоб мне была принесена целая кровать с сухим чистым бельем; сам передавал хозяевам подробные наставления о просушке за ночь всего моего гардероба и сверх своего обыкновения велел кучеру совсем отпрячь лошадей на ночевку. Тут же предложил он мне сухое легкое верхнее платье, бывшее у него среди

прочего тележного запаса, и велел подавать чай, требуя, чтобы я непременно согрелся у самовара. А положение юноши, этого бывалого путника, похвалившегося еще тем, что он, дескать, охотник, а теперь синевшего и дрожавшего от холода, должно было казаться истинно-забавным. Прежде всего, я отвел себе целый особый уголок за печкой, чтобы только освободиться от груди намокшего платья; как только скинул с себя азам и пальто – целое озеро воды образовалось на полу у печки; а когда сбросил туда же на пол и мокрое белье, брызги от него буквально полетели в потолок. Не помню, как я заснул.

Отдохнув за ночь и обсохнув в тепле, я проснулся в самом приятном настроении духа; не оставалось и следа вчерашней простуды. Я весело обглядывал всю комнату, золотившуюся янтарным блеском на утренних лучах солнца; дождик унялся. Но я был поражен странною картиной. Против моей кровати у противоположной стены стоял тот самый диван, у которого волосяной тюфяк был жесток как кирпич и ручки так остроугольны, что об них можно было порезаться. Константин Сергеевич заснул на нем, как был, с ног до головы весь одетый; а голова его покоилась именно на ручке дивана: никакого другого изголовья не было. От этой злосчастной ручки у него образовался весьма изрядный рубец во всю щеку. К тому же, утренние лучи солнца расположились именно так, что ударяли ему прямо в лицо. Приподнявшись на постели, я дивился. Этот легкий шорох разбудил его.

«Ну, отогрелись ли вы? Нам пора и ехать. Дома знают, что я никогда не останавливаюсь в дороге, и ждут давно. Напейтесь чаю и едемте». Оказалось, что, устроив весь этот ночлег собственно для меня, он не мог, как это делал обыкновенно в течение краткой стоянки, всё время ходить по комнате или по коридору, даже не присаживаясь. Волей-неволей пришлось прилечь на диван. Несколько раз он уже просыпался и наведывался к лошадям, готовым в путь; но, не желая меня будить, прикладывался снова. Что же касается до его шрама, этого весьма сильного рубца во всю щеку от

лежанья головой прямо на ручке дивана, он только рассмеялся добродушнейшим смехом, когда я попросил его поглядеться в зеркало.

Кто из троицких богомольцев не помнит живописных мест, открывавшихся путнику, когда приходилось, оставя Троицкое шоссе, сворачивать в сторону проселком к Хотькову монастырю? Теперь, с проведением железной дороги, мало уже кто посещает эти места. Все едут прямо к Троице; утрачивается старинный обычай, будто завещанный самим Сергием, прежде чем навестить его обитель, поклониться гробам его родителей в Хотькове. Да кто и хотел бы соблюсти этот обычай, тому нет надобности колесить проселком: сам Хотьков монастырь стоит у полотна железной дороги. Но тогда этот живописный путь приходилось делать поневоле. И пешеходы, и проезжие троицкие богомольцы, не доезжая до Троицы верст за двадцать, оставляли шоссе, чтоб попасть в Хотьково проселком. Тут уже не прерывались березовые рощи по крутоярмам, и с горы на гору поминутно открывался широкий простор во все стороны; зеленели озимые и яровые поля; в изобилии, то целыми прудами, как бы озерами, то в излучине речек, везде блестела вода; вся великорусская подмосковная красота казалась тут во всей роскоши и на всем привольи, как вдруг еще открывались перед путником белые стены и высокие храмы с разноцветными главами женского Хотькова монастыря. Теперь мы ехали этою самою дорогой.

И есть что-то особенное, манкое и приветливое в этой благословенной местности, – здесь сам народ светлее. Удивило меня простое слово ямщика, везшего меня один раз по здешним оврагам. На мой вопрос: спокойно ли в их стороне от воров и по деревням и по дорогам? – он даже удивился моему вопросу. «А Угодник на что? – возразил он с живостью. – Тут у нас Угодник. В нашей стороне этого не слышать». И действительно, села и веси вокруг Троицкого посада пребывают до сих пор, как и пять веков тому назад, в каком-то непрерывающемся живом общении с Основателем славы этой местности. Приуроченье подмосковной автора

«Семейной Хроники» к этому именно *месту святу* связано с особенным семейным воспоминанием, след которого им оставлен и в Записках. В дополнениях к «Семейной Хронике» упоминается о том, как дедушка Степан Михайлович, тоскуя, что его невестка родила не сына, а дочь, писал ей целое особое письмо во время следующей беременности: по особенному расположению к памяти святого Сергия, этим именем и назвать ребенка, если родится сын, – указывал он ей в своем письме. Таким образом, внук Степана Михайловича, вскоре после этого письма рожденный, и был вверен при самом рождении покровительству преподобного Сергия. Не случайно, а в связи с этим именно обстоятельством, автор «Семейной Хроники» захотел иметь уголок близ его мирной обители.

Коренник, выведенный еще с завода этого Степана Михайловича, славно работал теперь с горы на гору; также и добрая пристяжка не отставала от него. Константин Сергеевич, видя меня совершенно оправившимся от вчерашней простуды, был и сам еще радостнее обыкновенного: истинно-детская веселость овладела им. Он импровизовал экспромты и припоминал любимейшие стихи разных поэтов – уж не в славу и не в честь дождя, как это было вчера, а на тишь да на гладь красного летнего дня в русской деревне, а под конец и во славу «варварской» телеги. «Подите! Надо же было так случиться!..» – не мог он без смеха не повторить опять своего прежнего извинения о фаэтоне, уже в самом конце пути. А телега, как только мы свернули с шоссе, и очень давала себя чувствовать проселком.

Абрамцево от Хотькова монастыря всего в двух верстах, если еще не менее. С нагорья открылся вид на речку Ворю. Извилистая, местами шириной в два конских перескока, а где от плотин и шире, речка Воря, с болотистыми берегами и бесчисленными бочажками, была вся в водяной траве и водяных цветах. За ее низиной укатывалась опять вверх нагорная сторона; и там вверху, на горе, в окружении еловой рощи, вперемежку с

редким чернолесьем, виднелась просторная старинная помещичья усадьба, – это и цель нашего путешествия: Абрамцево. Я как сейчас помню весь колорит местности за ту минуту. Низменные облака неслись как туманы и шли дальше, прослаиваясь и измлевая; синева небес то и дело уж прорывалась между ними, и резкое освещение солнечных лучей поминутно спорило с пробегавшими тенями. Воздух после дождя был налит запахом березового и хвойного леса; еще и грибной дух от сырой земли покалывал в этом аромате. На завтра ждалось ясного дня. Доброезжая пара, страшно измученная, и телега вся в грязи от глинистой дороги, наконец, остановились. Пустынный широкий двор, не засаженный во всю ширь ни кустом, ни деревом и лишь местами обнесенный перильчатой решеткой, принял нас на свою зеленую мураву. Наше появление произвело обычное оживление. Парадное крыльцо с навесом, точь-в-точь как в тысяче других помещичьих усадеб того времени, распахнуло перед нами свои широкие сени. Деревянный, крашеный по тесу, дом с фасаду был предлинный и старинной стройки. Мы приехали.

Едва переступили порог здешнего хлебосольного дома, и уж невольно по всем метам и приметам угадывалось тут местопребывание автора не только «Записок об уженьи» или Ружейного охотника, но еще и «Семейной Хроники» и «Детских годов Багрова внука»; а вместе с тем и гостеприимное пристанище Гоголя, Загоскина и многих других лиц, славных в русской литературе. От каждого из них, не в одном так в другом, оставалась здесь видимая память и сохранялись следы их пребываний. Вот комната, где подолгу жил Гоголь, и тот самый диван, на котором он спал. В одном из растворенных ящичков здешней конторки я нашел связку акварелей, и мне кинулась в глаза одна из них. Это был портрет в натуральную величину с белого гриба, найденного Гоголем. Иначе нельзя выразиться, потому что гриб был передан во всей его оригинальной причудливости: славная, во все стороны ровная и как бы на токарном станке отточенная правильная шапка; но корешок несоразмерно



длинный и искривленный до какого-то чудесного уродства. Внизу было подписано: «белый гриб, найденный Николаем Васильевичем Гоголем» и следовало означение года и числа. В Абрамцеве для сбора грибов устраивались целые поездки обществом; в одну из таких прогулок Гоголь и нашел этот диковинный гриб. Эта «гоголевская» комната была в верхнем этаже, светлая и просторная; она помещалась в соседстве с кабинетом самого Константина Сергеевич: он был только через коридор, куда приводила лестница из нижнего этажа вверх, и как раз наспротив. Тут всё характерично. Константин Сергеевич любил заниматься на таком письменном столе, удобнее которого, действительно, и нет для письменных занятий; такого стола не найдешь, конечно, в том кабинете, где обыкновенно письменный стол составляет лишь декорацию. Это был простой, можно бы сказать, бело-липовый, стол; его просторная площадь покрыта в обтяжку зеленым сукном, прибитым со всех четырех сторон гвоздочками под свесом. Здешний письменный стол был преогромный и весь завален книгами, тетрадями и фолиантами. Над ним портрет Ломоносова из слоновой кости – вдвойне ему дорогой, во-первых, как портрет героя его диссертации, во-вторых, как местное произведение родины Ломоносова (Архангельская губерния, как известно, славится изделиями из мамонтовой кости и моржовых клыков, – встарину это и называлось «дорог рыбий зуб»). Обратил на себя мое внимание и умывальник Константина Сергеевича, им самим изобретенный. Теперь вошли во всеобщее употребление разные приспособления по части домашней утвари (черта времени, после того как перевелись *дворовые* и вообще многолюдная служба), и завелись для этого особые магазины; тогда это было в редкость. Прибор, придуманный Константином Сергеевичем, был замысловат именно по простоте своей; любой деревенский столяр мог его исполнить: механизм – простой голосинник, а резервуар – листовое железо, свернутое в конус и выкрашенное в белый цвет. Изобретатель добродушнейшим образом показывал мне на практике

всё достоинство своего прибора. Нажимая подножку, от которой голосинник шел вверх и двигал резервуар, нагибая конус, Константин Сергеевич с детским восторгом любовался, что он «подает воды именно столько, сколько хочешь! Хочешь, он дает малую струю воды; хочешь, он подаст сразу полрукомойника, совершенно как живой человек». Это не та мертвая английская машинка – да притом еще и очень дорого стоящая, недоступная бедным людям (тогда как эту всякий может сделать у себя дома), которая, хочешь не хочешь, всё льет одну и ту же мертвую струю. Так добродушно хвалился изобретатель.

Окна в его половине были растворены настежь. Сигарный дым разносился свежим воздухом летнего и, на этот раз, уже знойного дня. Так светло и радостно целыми полотнами света красное солнце заливало здесь пол и потолок, и стены с полками книг и бумаг... Или всё это только казалось так, потому что сам-то Константин Сергеевич уж очень был жив и весел. Счастьем жизни, телесным и душевным здоровьем веяло от него.

«Я люблю его стихи! – сказал он тут же про одного из наших второстепенных поэтов, чьи строфы только что продекламировал. – Еще Платон определял поэзию безумием. Итак, поэтическое безумие несомненно есть у него в стихах. Я знаю его лично, он сам почитает меня одним из приятелей своих. Тем с большим правом могу сказать про него: умом он вовсе не отличается; тем лучше: значит, в его стихах уж непосредственный Божий дар. Это-то я в нем и люблю». Поэт, о котором здесь речь, жив и сейчас, когда пишутся эти строки. И я дивлюсь до сих пор меткости этого отзыва о нем. С тех пор прошло много времени; иные стихотворные мастера издали целые томы своих сочинений, этот пишет редко. Но и до сих пор в стихах этого именно эпигона после-пушкинской поры всегда найдется хоть крупинка того, чего напрасно ищешь в тех томах. Да, именно платоново безумие, как тогда сказал Константин Сергеевич, есть у него в стихах.

При самом входе в дом, в сенях и в передней, я заметил везде нагроможденные удилища и с удочками и просто, и разнообразные припасы для ужения. Я узнал трогательный эпизод. Все эти удочки – иначе их трудно бы и отличить, они здесь считались десятками – носили имена; одну удочку звали «Леди». Почему так? Когда вышла в свет книга «Записки об ужении» – она нашла не только читателей и почитателей, но и читательниц и почитательниц; автор получал тогда со всех сторон разные заявления сочувствия, в том числе и прямо подарки удочками или чем-нибудь относящимся до рыбной ловли. Больше всего одна посылка позабавила автора. Одна из почитательниц, вместе с сочувственным письмом, прислала удочку, или правильной лесу, сплетенную из ее собственных волос. Леса, плетенная из девичьих шелковистых волос и собственными руками поклонницы – какой же еще больше награды автору! Эта удочка и звалась «Леди».

Не прошло и часу после того, как наша телега подъехала к крыльцу, уж мы удили. Исполнилось мое страстное желание поудить вместе с автором «Записок об ужении». Только что я, сидя об руку с ним, забросил свою удочку, «Ну... – и он окликнул меня тем ласково-фамильярным именем, которым всегда называл, – вижу, что рыбак!» Так обратился ко мне Сергей Тимофеевич. Это значило, что я не как-нибудь через голову забросил свою удочку или еще шлепнув по воде удилищем по обычаю неумелых, а по-охотнически: стянув лесу, дал заиграть упругости самого удилища и бесшумно подвел поплавок, куда надо было. «Видю, что рыбак!» – повторял он истинно по-охотнически и при леве, и при подсечке. На этот раз, впрочем, ужение происходило на крошечном пруду около самой усадьбы; тут брали исключительно гольцы – рыбешка не интересная для охотника. Здешнее ужение только тем и было дорого для старика, что по близости от дому можно было его производить во всякое время без лишних сборов и не боясь быть застигнутым врасплох непогодю. Даже во время небольшого дождя он здесь уживал под большим зонтиком. Скоро

мы перешли на Ворю, спустившись из усадьбы прямо под гору. Пока мы только сходили вниз усадебным парком, Константин Сергеевич уже поразил меня «своеобычаем» своим. Старый рыбак Сергей Тимофеевич, не расстававшийся уж в это время, как и до конца жизни, с зеленым зонтиком на глазах, уже согбенный летами, седой как лунь и постоянно повторявший о себе при разных случаях, когда чувствовал себе что не по силам: «я стар и хвор», не мог, конечно, соперничать с нами ни в скорости ходьбы к мосту на Воре под усадьбой, ни даже в несении удочек. При нем был «казачок»; он нес его складное кресло, его удочки и разные рыболовные снасти; он же обыкновенно насаживал червяков и снимал рыбу. Старик нес только свою длинную дымившуюся трубку. Но стоило тогда взглянуть на Константина Сергеевича! Он нагрузил себя буквально целым лесом удилиц, одно другого длиннее и тяжелее; кроме того, нес он и складной стул и коврик, и множество удилицных припасов. Я, вооруженный всего на всё одною только Леди, охотно предлагал ему разделить его ношу; но выслушал в ответ опять: «не виню вас лично, а говорю вообще про современную молодежь...», то есть, что у меня на это и сил не хватит. Я не настаивал, думая, что все эти принадлежности он несет для себя. Каково же было мое удивление, когда, придя на место, всё это, и стул, и коврик, и наконец чуть не все «сорок сороков» своих удочек он повергнул к моим услугам! Я решительно пришел в ужас, а он не хотел и слышать возражений. «Вам тяжело будет; садитесь и удите, как вы привыкли с комфортом; а я даже не люблю всех этих удобств, верьте мне», – стоял он на своем. Опять нагрузившись удочками, он менял места; пробовал удить под самым мостом, потом еще за мостом и везде удил стоя, не присев ни разу. Ходил он всегда сильно и быстро, точно его кто гонит; трудно было поспевать за ним.

Наконец, собственно для меня, было устроено большое ужение с поездкой в одно из дальних мест на Воре, где стояла мельница. Там мы удили в самом омуте близ мельничного колеса, с плотины (место

прославленное тем, что тут Константин Сергеевич выудил один раз налима в девять фунтов весом) и еще в одной тихой заводи на речке Воре, памятной мне по своей живописности. Тут-то я был свидетелем того, о чем так метко сказал сам о себе автор «Записок об уженье» по поводу страсти, не оставлявшей его и под старость: «Ужу с меньшим увлечением, но с бoльшим вниманием». Он и на этот раз выудил больше против всех нас, и на моих глазах мастерски подсек и вытащил на берег щуренка. На меня уже один вид настоящих рыбацких мест, этой зеркальной поверхности, усеянной листатыми травами и водяными цветами, действовал возбуждительно. Мне удалось вытащить редкость тут, как мне сказали, подъязика; больше клевали щуки, окунь, ерш, головли и плотва. Но все эти эпизоды, памятные сами по себе, особенно осмысливались для меня интересом личности Константине Сергеевича. С сигарой в зубах, не спуская глаз с поплавок, он проводил целые часы, стоя неподвижно как статуя, не присаживаясь вовсе. «Вот, вы меня усаживаете даже против воли», – настаивал я принять от меня складной стул. «Нет, это совсем другое дело! – возражал он с живостью. – Вся нынешняя молодежь так уж и воспитывается в привычках ко всякому удобству. А я, напротив, люблю постоянно упражнять себя в перенесении всяких лишений; мне даже весело пробовать свою силу». И опять час-другой выстаивал он, как бронзовая статуя. «Я во всех домашних привычках вообще ненавижу прибегать к посторонней помощи, – говорил он мне. – У нас это как-то принято. Одеваются ли, умываются ли, лечь в постель или встать, другой и шагу не ступит без помощи слуги. Я не люблю и не могу этого. Случается иногда надобность встать как можно раньше или даже ночью; я и тут лучше что-нибудь сделаю, или вовсе не лягу, или прилягу только на минуту одетый, или уж как-нибудь принужу себя, а только чтобы не беспокоить никого из людей приказом разбудить себя вовремя. И заметьте, как сильна воля в человеке! Мне никогда не случается опаздывать; я и без всяких приказов людям встаю вовремя; всегда встану, как хотел. Также и

проснувшись, целый день не терплю посторонней помощи; мне она не нужна. Вот, вы видели мой рукомошник!» – прибавил он добродушно смеясь. По поводу этого обычая вставать вовремя без помощи людей, тут же рассказал он мне очень забавный случай. «Раз с вечера у меня было решено отправиться на одно большое уженье; это от нас отсюда дальнейшее место, туда надо проходить лесом и одним большим оврагом. Заснув вечером, я принял все меры, чтобы встать еще ночью, как можно раньше; идти далеко – значит, чем раньше встать, тем лучше. Вот и проснулся. Гляжу, чуть брежжет; едва видно в комнате, настоящего света еще нет, а как бывает пред рассветом. Я встал, умылся, оделся, захватил все припасы, нагрузил на себя удилища и вышел из дому. А делается всё темнее. Идти далеко. Что же? иду, иду; уж много прошел, а всё темнее делается. Наконец, отойдя от дому уж полдорми, я только тут заметил свою ошибку. Оказалось, что это была не утрення заря к рассвету, а только вечер наступил к ночи. Я проснулся как раз в то время, когда в доме всё улеглось спать. Совсем ночь захватила меня в дороге, и темная глухая ночь. Чтò было делать, не вернуться же домой с полдороги. Я и заночевал именно в том овраге. Там и простоял всё время на одном месте с удилищами на плечах, пока, наконец, не начался рассвет. Чуть засветилась заря; я вышел из оврага и пошел дальше на место уженья». И сам он добродушно смеялся этому случаю.

Кроме уженья, состоялась при мне поездка в лес за грибами собственно для Сергея Тимофеевича. Он делил весь летний досуг между этими двумя охотами; то на реке за удочкой, то в лесу за грибами. Также и по взгорьям Вори, где рос еловый лес Хотькова монастыря, перемешанный с чернолесьем, ходил он во время бранья грибов с неизменною длинною трубкой в руке, а на глазах с зеленым зонтиком. За завтраками и обедами в те дни пар дымился над кастрюлей «духовых грибов», и задорили аппетит вкусные «пирогы с грибами», находка исключительно самого Сергея Тимофеевича.

Я и не видел, как пролетел день-другой моего здешнего пребывания. Любя русскую деревню, простор воды и лесов и самое ужение, нельзя было не полюбить от всей души здешний мирный уголок под Троицей. А когда прибавить к тому хлебосольное гостеприимство всего здешнего дома и высокий личный интерес таких характеров, какими отличались здешние хозяева, то станет вполне понятно, почему Абрамцево в течение многих лет и манило к себе так многих. Здесь Гоголь с другим «украинцем», своим земляком М. А. Максимовичем проводили напролет целые дни в слушании у рояли своих любимых малороссийских песен. И нигде еще не видели Гоголя, обыкновенно молчаливого и замкнутого в себе, таким хохлацки-веселым и на распашку, как здесь; сам он вдруг начинал подтягивать: «Нехай так! нехай так!» и притоптывал вприсядку. Здесь гащивал друг и сверстник старика-хозяина М. Н. Загоскин, и множество других его знакомых, большею частью литературных имен, о которых след сохранен в его записках, рассказах и воспоминаниях. Сюда же являлись и писатели сравнительно новых времен, считая как бы за долг навестить Сергея Тимофеевича. В числе последних Абрамцево считало своим гостем Ив<ана> Серг<еевича> Тургенева. След о пребывании здесь Тургенева сохранился, между прочим, в одном позднейшем примечании к позднейшему изданию «Записок об ужении». Рассказывая про диковинный случай, как у одного молодого рыбака взял на удочку пискарь, а на самого пискаря тут же попалась щука, увязившая свои зубы в эту импровизированную насадку и давшая себя вытащить, тогда как и не попадала на крючок, автор делает от себя заметку. Я бы, говорит он, и не рассказал этого случая, похожего на рассказы из книги *не любо не слушай*, если бы не мог сослаться на одного, всем известного, свидетеля. Именно во время моего пребывания здесь в Абрамцеве я узнал от самого автора, что тот «молодой рыбак» – никто другой, как Константин Сергеевич, а тот «достоверный свидетель» – Иван Сергеевич Тургенев. Так обо всех

посетителях здешнего мирного уголка хранилась добрая память в гостеприимном доме; что ни шаг – целый рой воспоминаний.

Когда я остался один в предоставленной мне комнате (это была именно гоголевская комната), я не без особенного чувства осматривал все ее подробности. И обои на стенах, и мебель, даже набросанные там и сям книжки, брошюры и бумаги, то в раскрытых конторках, то где-нибудь прямо на столе, казалось, еще хранились от тех времен. Малейшее чернильное пятнышко на столе, оставшееся от давно брызнувшего пера, казалось мне тут дорогим следом. А сам этот кожаный диван, на котором спал Гоголь, обмятый и, если так можно выразиться, вылежанный им самим! Я самым наивным образом думал, что и заснуть на нем не засну, когда вдруг увидел и себе постель на том же месте. Разбирая лежавшие тут книги и брошюры, в одном месте я тут нашел отдельный оттиск, помнится, старой журнальной статьи Сергея Тимофеевича о сочинениях Загоскина, написанной им и напечатанной на помин автора *«Юрия Милославского»* сейчас после его смерти. В другом месте я нашел газетные же листки, также отдельным оттиском, с речью Константина Сергеевича; по поводу юбилея М. С. Щепкина. Застольные речи в то время были новостью; а в царствование Николая Павловича и вовсе небывалым явлением. В этой речи Константина Сергеевича первый раз устно и печатно, – сам он обратил на то мое внимание, – было употреблено выражение *общественное мнение*. На юбилейном обеде он поднял бокал и провозгласил тост именно за общественное мнение. Но я еще и по другому не мог долго заснуть в гоголевской комнате, на гоголевском диване. На ночь я прочел новую главу «Детских годов Багрова внука». Эта тогда еще неизданная глава только что была приготовлена Сергеем Тимофеевичем для печати. Тетрадь толщиной в мизинец, каллиграфически переписанная, увлекла меня далеко за полночь. С восхищением отдался я прелести рассказа о лицах, едва упомянутых в тогдашних печатных отрывках; а тут они воплощались в мельчайших фамильярных подробностях! Сами по себе



выводимые лица и весь выводимый мир были для меня интересны; а тут еще удивительная художественная красота в сочетании с чисто-эпической простотою.

Но, довольно, будет! Довольно уже и всего здесь написанного, чтоб видеть, как в личных воспоминаниях о Константине Сергеевиче неотделимы и воспоминания об его отце, Сергее Тимофеевиче Аксакове. Оба образа восстают слитно, одно от другого неотделимо – по крайней мере, в моих собственных воспоминаниях. Но такова была и в действительности необыкновенная жизнь этого необыкновенного человека. «Он жил и умер вместе с отцом». В этом отношении это была жизнь, это была и смерть – совершенно особенные. Нельзя бы и найти другого такого же примера.

Другие, старейшие знакомые или даже сверстники Константина Сергеевича, могут себе припоминать его в ту цветущую пору московского общества – конец тридцатых и начало сороковых годов – когда всё оно жило исключительно литературным интересом, и молодой Константин Сергеевич *«с душою прямо геттингенской»*, с кудрями черными до плеч и со всегда восторженною речью – стал появляться в московских салонах. Тогда он и одевался в «сарафан», как выражались его недруги, или «в такой костюм, что на улице народ принимал его за персиянина», как сказал Герцен. (В довершение сходства с Ленским, может быть, и в нем тогда был *«дух пылкий и довольно странный»* – этот еще зеленый незрелый цвет положительного направления онегинской, чисто-отрицательной эпохи. Но к началу сороковых годов *много воды утекло*, и многое переменялось – от конца двадцатых.)

Иной образ Константина Сергеевича, проникнутый иным значением, уцелел в памяти тех, кто с ним сблизился уже к концу пятидесятих годов – на рубеже двух царствований Николая I-го и Александра II-го; а в моих воспоминаниях он восстает и того позднее. Тогда Константин Сергеевич ходил как все, в сюртуке; также и прической, бородой или усами ничем не

отличался от прочих. Это были годы – 1857-й, 1858-й и наконец роковой 1859-й, когда уже угасал и клонился совсем к закату старый и хворый Сергей Тимофеевич Аксаков. Он уже мучился недугом, сведшим его в могилу. Всё реже и реже занимался он диктовкою своих «Воспоминаний» или изданием прежних сочинений; мучительный недуг всё более и более приковывал его к болезненному одру. Близившаяся кончина смущала его – не страхом смерти; об этом он сам мужественно говорил: «как бы кто ни прожил свою жизнь, а без страху умирать не может: плоть бо есть человек!» Его смущало другое, постоянно одно и то же беспокойство. «Бедный Константин! – говорил он. – Боюсь за него; он не перенесет». На возможные успокоения со стороны собеседника он возражал одним и тем же: «нет! всё это было бы возможно при другом воспитании Константина; а он воспитан не так». И старик признавался в своей «ошибке», как он вырастил сына. Не было у него кормилицы или няньки; он, сам отец, принимал его от материнской груди, баюкал на своих руках, пеленал и укладывал в колыбель собственными руками. «Только стареясь, – говорил Сергей Тимофеевич, – видишь, как бы надо было воспитывать своих детей. По мере того, как растут дети, родители, думая их воспитывать, еще сами воспитываются ими». С колыбели, всё детство и отрочество, и юность, и наконец летà полной возмужалости – Константин Сергеевич провел в родном доме, как бы даже не догадываясь о своем совершеннолетию; он не хотел и слышать о том, что он уже более не один «от малых сих», а мужчина сорока лет (он и скончался всего 42-х лет от роду). Это была его, уже без всяких иносказаний, идиосинкрязия; этим он и умер.

### III

В 1859-м г. было напечатано в газетах: «Сегодня, в ночь с 29-го на 30-е апреля, скончался Сергей Тимофеевич Аксаков» а номер «Русской Беседы» вышел с объявлением на первой странице в траурной кайме:

«Москва лишилась великого художника»... Это был некролог, написанный А. С. Хомяковым.

Не в Москве, даже не в Московской губернии, а смежной с нею – в деревне с большою каменною усадьбой, в прекрасной саду над прудом, напоминавшим целое озеро, где тогда цвела черемуха и яблоня, куковали кукушки и пели соловьи, в самый расцвет мая – дошло до меня роковое известие.

В Москве, у Арбатских ворот, неподалеку от того розового двухэтажного, за палисадником, дома с балконом и со стеклянными сенями, на Кисловке, где в последнее время жил и скончался Сергей Тимофеевич – в церкви Бориса и Глеба происходили, отличающиеся необыкновенным многолюдством и съездом похороны. Я не мог быть там, и с минуты на минуту мне делалось тяжеле, что я там не был. Уладясь кое-как с затруднениями по делам чисто личным (правильнее даже сказать семейным, потому что тот едва окончивший курс юноша, посетивший года полтора тому назад Абрамцево, был уже человек семейный), я попал в Москву на один из первых поминальных дней. Мысль о Константине Сергеевиче – как он переносит свое несчастье, здоров ли и даже можно ли будет его видеть – не переставала тяготить меня всю дорогу. Ранним утром, прямо с *перекладной*, я наведаясь к издателю прекращенной газеты «Парус», к его брату Ивану Сергеевичу, занимавшемуся тогда изданием «Русской Беседы», переданной ему А. И. Кошелевым. Редакция «Русской Беседы» помещалась недалеко от дома, где скончался Сергей Тимофеевич – на Большой Никитской, насупротив Кисловки. Как и следовало ожидать, я услышал мало утешительного. Константин Сергеевич был безнадежен; не только свои, и чужие боялись за него. Его укоряли, что он не бережет себя, еще прямо и в том, что он как бы намеренно убивает себя. К этому прибавляли, что он страшно изменился. Хорошо предупрежденный на этот счет, я готовился быть особенно осторожным при встрече с ним. Перебежав только улицу, уж я был на Кисловке; а сделав еще шагов

тридцать к знакомому дому, уж видел палисадник за перилами, большие ворота, и из ворот, в противоположную от меня сторону, медленными шагами удалявшуюся фигуру. Я нагнал вслед; медленно отходивший от меня обернулся... Можно ли было узнать прежнего, бодрого душевно и телесно Константина Сергеевича? Мало сказать: он страшно изменился в лице! нет, а от общей исхудалости было еще что-то удлиненное и утоненное во всей фигуре. Пепельность бороды и усов, вдруг взявшаяся проседь, вместо прежнего их цвета; с ног до головы чрезвычайная угрюмость во всем виде; неподвижный, какой-то внутрь самого себя обращенный, самоуглубленный взор; и тихость, жуткая тихость, – поразили меня.

– Я иду в церковь, – сказал он; – как служба отойдет – вернусь; вы меня застанете дома, я жду вас.

– Но, Константин Сергеевич, поберегите себя, – вырвалось у меня совершенно невольно.

Тут же, стоя на улице, он отвечал очень серьезно, но тихим и задумчивым голосом, а не как бывало: «Да, меня упрекают. На меня даже взводят обвинение, что я не удерживаюсь от горя, даю ему волю и намеренно расстроиваю себя. Не верьте этому. А я не могу. Не верьте и тому – вам и это будут рассказывать про меня – что я во что-то вдаюсь. Нет, я по-прежнему свободен и на во что не вдаюсь. Если теперь иду в церковь, – вы знаете, и прежде всегда ходил. Напротив, я был совершенно спокоен даже во время похорон, то есть ничто нервно не действовало на меня. Даже самый вид гроба, траур и погребальные свечи, дым кадилный по покойнику, всё что действует на нервы и расстроивает самые нервы – ничто не действовало на меня. Я облакачивался на гроб, желая лишний раз взглянуть на дорогое лицо, как на простую мебель; я поправлял и поворачивал подушку в гробу, как и подушку на постели, когда за ним ходил. Я не замечал. Так и во всем».

Известно, что Константин Сергеевич, вынужденный одно время дать обязательство правительству, что будет брить бороду и не будет ходить в русском платье, самым добросовестным образом соблюдал эту формальность. Но в последнее время, когда он проводил дни и ночи при больном отце и буквально по целым неделям не спал и не раздевался, карауля дыханье больного, – уж не время ему было до соблюдения каких бы то ни было формальностей. Борода у него отросла, а потом (хотя опять-таки для соблюдения формальности) прореженная бритвой на подбородке и двоившаяся как бы продолжение бакенбардов борода так и осталась; ее пепельная проседь скоро перешла совсем в седину.

Нельзя было рассудительнее говорить о безвыходности своего горя, как потом всё время передавал мне о себе Константин Сергеевич. Слушая нельзя было утешать: это значило бы и себя обманывать, и оскорблять его. Мне казалось, что свои и чужие еще слишком много надеются... У него прямо в глазах была уже смертная отметка!

Я уехал к себе в глушь, каясь в прежнем легкомыслии; мало, слишком мало давал я значения его горю, при всем том, что думал даже, не преувеличиваю ли я его. Эта роковая отметка в его глазах, что он больше не жилец – мучительно преследовала меня. Всё лето прожил я безвыездно в деревне, в маленьком устройстве очень маленьких дел; повидать Константина Сергеевича еще раз в Москве не привелось. А вести об нем и его собственные письма приходили раз от разу всё мрачнее. Кто рассчитывал на время, надеясь еще, что само время излечит – тот ошибся вдвойне. «Время тут ничему не поможет, поверьте», – говорил он мне еще тогда в Москве, и он был прав. В горести, давившей всё его существо, не было ничего эффектированного с самого начала; ничего такого, что было бы связано, как сам он говорил, с нервным расстройством; а лишь в таких случаях и помогает время. Это была, напротив того, скорбь, усиливавшаяся с каждым днем, потому что каждый новый день приносил и большее разуверение в возможности будущего и настоящего без прошлого.

Странная мысль пришла мне тогда в голову. Мне казалось, что родной дом и родная семья, окружавшие тогда Константина Сергеевича удвоенной заботливостью, сами по себе не могут не служить для него источником глубочайшего горя: тут-то всё и должно было вдвойне напоминать о безвозвратной потере. Мне казалось: его надо непременно оторвать от родного дома и куда-то перенести на время... но куда? Располагай я в то время каким-нибудь лукулловским дворцом, или только продолжай жить в имении у матери – в той самой усадьбе в саду над прудом, напоминавшим целое озеро, куда заглянуть давал мне обещание Константин Сергеевич и даже списывался об этом – мне не пришло бы и в голову звать его к себе в гости: вид всякого семейного дома, где правильно-установленный быт течет ровно изо дня в день во всяком благополучии, должен был тогда болезненно раздражать его. Напротив того, какой-нибудь глухой, заброшенный уголок, где, по тому или другому странному капризу судьбы, жизнь выбилась бы из общей колеи и вдруг сложилась на совершенно исключительный образец; полное одиночество как в скиту и в то же время заботливость близких, но непременно новых лиц – вот что, казалось мне, могло бы еще, пожалуй, при его тогдашнем душевном настроении, благотворно подействовать на него. Но именно такую обстановку, и только такую, я и мог ему предложить тогда. Убогая деревушка; сам-друг с женой и с грудным ребенком у кормилицы на руках; только что кое-как поставленный и еще недоделанный бревенчатый домик в три сруба, в роще из вековых лип и дубов; полное одиночество и лишь первые приступы к той жизни, о которой сказано: «щей горшок да сам большой», – вот обстановка, в которой я тогда очутился. Нашу рощу и в ней этот домик мы сами называли *скитом*; но что здешний приют был бы по сердцу Константину Сергеевичу в тогдашних обстоятельствах – я не сомневался.

Так как, однако, по моему мнению, это надо было сделать незаметно для него самого, не подав и виду, что его намеренно отрывают от дома, –

разумеется, я ни слова и не писал самому Константину Сергеевичу о моем предположении. Письмо в этом смысле, о котором и не чаял, что оно попадет в его руки, я направил в редакцию «Русской Беседы», к его брату. Я прямо оговаривал, что следует это сделать незаметно, навести на эту мысль; предлагал к тому и средство. Мне казалось естественным, что в течение этого лета захочется Константину Сергеевичу навестить А. С. Хомякова, жившего тогда под Тулой в своем Богучарове. А от первой станции за Серпуховым на Тульском шоссе, от Малахова, приходится всего в восьми верстах и та деревушка, куда я звал Константина Сергеевича. Но опять-таки, и самое это предположение о возможности хотя сколько-нибудь облегчить состояние Константина Сергеевича, оказалось непростительным легкомыслием с моей стороны. Его страдальческая немочь за это время усилилась в такой степени, что ни к Хомякову он не думал ехать, хотя к этому и склоняли его; ни его брат более не находил нужным скрывать от него какие бы то ни было письма. Вдруг получил я ответ от самого Константина Сергеевича. «Любезный мой..... вы приглашаете меня к вам в деревню»... Но это письмо поразило меня как громом. Кроме двух-трех незначительных сокращений то одной строки, то даже полустроки, чисто фамильярного свойства, вот это его письмо, слово в слово: «Вы приглашаете меня к вам в деревню. Брат показал мне письмо ваше. Приглашение ваше так искренно, в нем сказалось такое дружеское движение, что мне захотелось непременно написать вам, и вот я пишу. Я всегда очень много ценил в жизни привет, и всегда с такою радостью на него отзывался; но привет вовсе не так часто встречается в жизни, как, может быть, думают. В ваших словах мне послышался именно этот привет, который так редок. Если б это приглашение ваше сделано было при батюшке..... тогда я не проездом к Хомякову, а нарочно бы к вам поехал. Но теперь, любезнейший..... всё кончилось. Ни удовольствие, ни радость жизни для меня существовать не могут. Одним словом, жизнь кончилась – жизнь, как моя. Я здесь еще, под

условиями этой жизни; но это не *моя* жизнь. Всё доброе, всё хорошее в других – я чувствую; отзываюсь на это, как и на ваше приглашение, – и только. Если б вы предлагали мне какое-нибудь удовольствие, мне было (б) приятно видеть ваше желание, а от самого удовольствия я бы отказался, потому что его нет для меня. Так и теперь вы всё сделали, пригласив меня, и дали мне всё, что я могу теперь принять. Прежде для меня было бы истинным удовольствием повидаться с вами у вас..... взглянуть на юную семью в обстановке природы со всею ее непостижимой красотой, которую батюшка передает в своих сочинениях так неподражаемо. Но этого прекрасного удовольствия для меня теперь быть не может. Это всё кончилось. Вы знали Константина Сергеевича, который удит, курит, с восхищением радуется жизни и природе в каждом ее проявлении, будь это зима или лето, будь это палящее солнце или дождь, промачивающий насквозь, – Константина Сергеевича, который любит слышать в себе силы именно тогда, когда неудобство, стужа или что-нибудь подобное их вызывает; который в восхищении и крепнет на телеге, прыгающей по камням, или под дождем, его всего обливающим, – Константина Сергеевича, который 28 верст проходит не присаживаясь, выпивает сливок, потом квасу, и отправляется еще, взвалив на себя огромные удилища – удить. Теперешний Константин Сергеевич не удит, не курит, смотрит и не видит природы или болезненно ее чувствует и даже отворачивается от нее; неженкой он не делается, слабым тоже; но не слышит в себе этого приятного ощущения сил, не ищет чего-нибудь понеудобнее и потяжелее; ему всё равно, карета ли или любимая прежде телега, к которой он прежде даже и стихи писал. Да, всё для меня кончилось, жизнь моя кончилась; жизнь была хороша и исполнена прекрасных радостей; и вот я помянул себя в письме к вам. Благодарю же вас..... за всё радушие, какое я видел бы у вас. Обнимаю вас крепко..... Я занимаюсь довольно; это я считаю своим долгом, который я должен выплатить; постараюсь сделать всё, что могу, на что имею способности, и



таким образом расплатиться с долгами. Я точно собираюсь переехать и укладываюсь. Прощайте..... Ваш Константин Аксаков». Был и *post-scriptum*: «Время действует на меня совершенно наоборот против того, как полагают». Почтовая пометка 24 августа 1859 года.

Я читал и перечитывал это удивительное письмо: оно было для меня живым истолкованием всего, что я прочитал у него в глазах. Тот смертный оттенок, поразивший меня тогда, при встрече с ним после похорон отца, припомнился меня теперь во всей силе. Ничего нельзя было сделать с его грустью; хуже того: с тою чахоткой и сухоткой, которая у него началась от грусти. Злейшая чахотка и сухотка, без всяких физических поводов к тому – единственно от нравственного недуга! И это в Константине Сергеевиче, чья крепость вошла в поговорку и которого сам Овер, за его железное здоровье, звал печенегом. Приписка: «время действует на меня совершенно наоборот против того, как полагают» поразила меня едва ли не более целого письма. Это был уже могильный, гробовой голос. Предреченное мне им о себе еще в мае месяце, тогда, при личном свидании в Москве, теперь подтверждалось лично уже по прошествии четверти года.

После такого письма можно ли было настаивать на его приезде? Где бы он ни был теперь, хоть именно на том дальнем острове Занте, где и умер, он носил в душе такую же неисцельную скорбь, какую уже была и злая чахотка в его теле. Я забыл и думать о приезде Константина Сергеевича. Вдруг наша бедная деревушка осветилась посещением и пребыванием в ней этого необыкновенно-жившего и необыкновенно-умершего человека. И это всего через какие-нибудь две недели после того письма!

Наступила осень 1859-го года. Сентябрь был в половине; стояла мгlistая, туманная, дождевая погода. Никитин день, 15 сентября, ярмарка в ближнем уездном городе, больше конная; но торгуют на ней и всяким добром, пригодным в сельской глуши. Я сам имел надобность быть на этой ярмарке. Но срединные числа сентября – это еще в наших местах золотая

пора для ружейного охотника: пролет валь<д>шнепов. Предположив ехать в город на ярмарку, я не хотел тот раз пропустить и ежедневно совершаемого обхода валь<д>шнепиных мест; встал еще до света и выехал на охоту. Моросило; в лесу мягко и бесшумно ступала нога по желтому палому листу, напитанному сыростью. Валь<д>шнепы, однако, не удались в то утро. Я застрелил только одного, да еще черняка-тетерева, случайно вылетевшего даже без стойки собаки. Вернувшись домой, приходилось собираться в новую дорогу: в город на ярмарку. Там, протолкавшись весь день на конной и накупив, сколько было надобно, лошадей «на корм, для навоза, на зиму»; а также помяв бока в народе на городской площади, где продавались горшки, кадки да бочки, я управился только к вечеру. Отправил при себе подводы с разными покупками и с целым небольшим табуном выехал из города. Домой вернулся поздно, да и устал еще с утра на охоте. Крошечный наш домик улегся спать. Вековые дубы и липы, даже в майские светлые ночи, очень темнили здешнюю усадьбу; а в сентябре, после девяти часов вечера и в ту же туманную погоду – совсем была ночь в нашем «скиту».

В эту-то неурочную пору, когда уж огни загасили в доме, и сам я, утомленный целым днем разъездов, готовился заночевать – слышался глухой неопределенный шум как бы громоздкого экипажа, насилиу подъезжавшего по грязи к крыльцу. Кормилица, раньше других услышавшая шум, а потом еще и стук в двери, наскоро оделась и отворила; второпях вбежала она потом в спальную, сказывая, что «спрашивают барина». Я накинул свой тяжелый драповый не то халат, не то кафтан (это был точный снимок с «азяма» в память Константина Сергеевича) и выбежал встретить доброго гостя, решительно недоумевая: кто бы это мог быть?.... «Константин Сергеевич!...» – и я снова почувствовал себя в его крепких, широких объятиях.

После первых же приветствий и распоряжений о приеме путника с дороги, я не мог не рассмеяться истинно характеристической черте: только

с Константином Сергеевичем поминутно случались подобные приключения! Оказалось, что он именно был в имении А. С. Хомякова по случившемуся с ним тогда несчастью: в Москве говорили, что Хомяков упал с лошади и лежит больной со сломанной ногою. Константин Сергеевич сейчас же собрался навестить его (впрочем, никакой опасности не было: больной уж оправился). – «Возвращаясь в Москву, – сказал Константин Сергеевич, – я, разумеется, не мог по дороге не навестить и вас». Но вот что было истинно забавно: едучи от Хомякова по Тульскому шоссе на Серпухов, он был утром на Малаховской станции; в то самое время, как я почти там же охотился за вальшнепами, ему перепрягали лошадей, и он мог до нас доехать всего в какой-нибудь час, не больше. И вот, вместо этого, он доехал вплоть до Серпухова, оттуда поехал меня разыскивать берегом Оки, исколесил верст тридцать, переехал Оку на дрянном пароме и только тут, наконец, услышал от перевозчика, что ему не надо было ни переезжать Оки, ни колесить этих тридцати верст; а теперь волей-неволей приходится еще сделать верст двадцать, если не более, совсем в обратную сторону, прямо назад, откуда ехал. И всё это потому только, что в 30-ти верстах от Серпухова, действительно, есть другое наше имение, где я уже не жил, о чем и предуведомлял его, приглашая именно на новоселье. Но он спутал и, садясь в тарантас, назвал ямщику то село, куда по старой памяти привык адресовать свои прежние письма. Таким образом, он пространствовал с утра до ночи весь день больше семидесяти верст для того только, чтоб об полночи подъехать к жилью, от которого был всего в восьми верстах поутру.

Жена, видевшая теперь Константина Сергеевича в первый раз и до тех пор знавшая его только по моим рассказам, поразила меня своим словом об нем: «Боже мой! Какое у него доброе лицо! Ну, бывают добрые лица на свете, а это что-то невероятное! Удивительно доброе лицо!» То же слово в слово говорила кормилица: «добрый, уж вот добрый барин!» То же повторяли потом все домашние. И это не без причины. Скорь,

преждевременно состарившая Константина Сергеевича, много поработала над ним в эти четыре месяца. Он уже истинно казался «не от мира сего». Не было слез, не было и следа «эффектов скорби» на этом лице; но отменная тихость всего образа и вдумчивость, и задумчивость самоуглубленного взора сообщали всей его фигуре невообразимую кротость. Казалось, только машинально смотрели еще его глаза, пока душа в теле, на всё окружающее; но уже ничто, что не в нем самом, больше не действует на него – тем свободнее обнажалась душа, тем непринужденнее сквозила и обнаруживалась на его лице святая святых его души: младенческая его простота и доброта, ее всегдашнее свойство.

По счастью, хоть и крошечный был тогда наш домик, но в нем нашлась просторная, высокая, удобная комната, где и был приготовлен ночлег для Константина Сергеевича. Зная его угрюмое настроение и отчаянную грусть, я боялся за него, как за малого ребенка; я опасался даже оставлять его одного впотьмах или дать ему спать как-нибудь беспокойно в сумрачных грезах. Он был истинно тронут хозяйской заботливостью, когда увидел приветливый уголок, приготовленный для него с некоторою предусмотрительностью даже до мелочей. Старинный фарфоровый ночник давал ровный свет, не беспокоивший глаз, и в то же время ласковый и манкий. Он угадал истинное значение всей этой предусмотрительности, горячо благодарил за всё; но и опять повторил свое «не бойтесь за меня», памятное мне еще с Москвы, после похорон его отца. – «Не бойтесь за меня; ни днем, ни ночью галлюцинаций у меня нет. Я не расстроен ни нервами, ни воображением. Я свободен от всех страхов мнимых; я скорблю душою и сознательно отношусь к самой скорби моей. Веселья душевного у меня нет и быть не может, – только. Я даже работать не могу; писать считаю долгом и не могу, потому что даже для работы необходимо веселие духа; этого веселия больше у меня нет. Но и только. Повторяю, не бойтесь за меня. Благодарю вас за дружеский прием; за самый этот тихий

свет ночного светильника – благодарю. Но я совершенно так же уснул бы впотьмах. Никакая внешность не действует на меня».

Не называя имени своего отца, даже не касаясь воспоминания о том, что он умер – все разговоры, однако ж, собственно говоря, только об этом и были; то и дело переходили еще и прямо к этому.

«Теперь-то я понимаю всю нелепость смерти!» – было одним из первых слов Константина Сергеевича после первых же приветствий и отвесток. «Да, именно *нелепость* смерти – лучше нельзя сказать этого – понимаю я. Чтобы всё, в чем выражается дух, что существует как дух – могло уничтожиться, не быть – это логический абсурд. Я теперь не только верую в бессмертие души, я логически не понимаю возможности смерти того, что дух. Это нелепость. Я воочию понимаю всю нелепость смерти. Я знаю: как о чем думал мой отец; его нет больше со мною; но и теперь во всем, что я переживаю и вижу перед собою день за днем, – я знаю: как бы он думал обо всем этом, совершающемся передо мною на моих глазах? Я слышу поминутно: что сказал бы он по тому или по другому поводу; я знаю: как бы он поступил. Я вот это то, что мне ясно: как бы он думал в известных случаях, даже не приходившихся с ним, и как бы он поступил, – это вдруг, говорят, это самое может умереть, не быть?! О, какая это нелепость! Не говорю: вера не допускает этого; а говорю: для меня это логический абсурд».

За ужином, между прочим, подали валь<д>шнепа и тетерева – добычу моей утренней охоты; я упомянул о том Константину Сергеевичу.

«Как прекрасно описывал охоту отец!» – воскликнул он и сейчас же заговорил опять о своем. Даже по поводу валь<д>шнепа и тетерева начал он очень живые рассуждения о том, как охотник стреляет дичь потому только, что для него не существует *этого* тетерева, *этого* валь<д>шнепа, при чем в уме охотника соединялось бы и представление индивидуальности; а существуй только это представление, оно отняло бы у него охоту и бить дичь.

Приезд Константина Сергеевича меня глубоко тронул хотя это было совсем не то, что я так простодушно предлагал ему; а что никакое нигде, вдали от семейных воспоминаний, пребывание более не исцелит его, – я сам теперь видел ясно. «Разумеется, я должен был к вам заехать», – сказал он, пожимая мне руку, когда я ему напомнил о семидесяти верстах, сделанных им в этот день понапрасну. «Я не мог не приехать к вам», – повторил он несколько раз на прощаньи. Так-то искренне было его слово: «я всегда в жизни ценил привет».

Рано поутру он встал бодрый, благодарил за ночлег и опять помянул добром тот фарфоровый ночник, свет которого ему так понравился. День был светлый. Удаются иногда осенью эти красные, чисто летние дни – еще краше летних; такой именно день и был тогда. Мы втроем вышли на воздух, кто в чем был дома, чисто по-летнему. Я подвел его к окраине рощи, откуда открывался вид в чистое поле, и указал ему белевшую издали, на косых утренних лучах солнца, Малахову станцию. Будь это в другое время, воображаю, каким звонким смехом грянул бы он на свой счет по поводу вчерашнего путешествия: от станции до нас, в самом деле, было рукой подать. Теперь он только качнул головой и дивился своим вчерашним разездам. Его поразила земля в нашей местности. «Да тут у вас совсем чернозем! – сказал он, глядя прямо под ноги. – Это мне напоминает наши Вишенки; только там и видел я такую черную землю». А я, при имени Вишенок, вспомнил знакомое для меня название по «Детским годам Багрова-внука».

Когда мы проходили под вековыми липами и дубами к скотному двору, он остановился, заглядевшись на одну красавицу-липу и рядом с нею на кудрявый курчавый дуб, и сказал почти словами своего отца во введении к *«Запискам об уженье»*: «Не понимают многие у нас красот природы! Им нужны декорации. Нет, что мне особенно нравится здесь у вас – это именно сама природа в ее дикости, в ее естественной красоте. Как хорошо тут!» Мы прошли на деревню. Только малые ребятишки сновали

по улице, да еще у каждой почти избы грелись на заваленке. По задворкам везде были наставлены скирды и одонья, пахло хлебом; там весело голосили бабы и мужики, звонко молотили цепами. Весь этот деревенский быт для знакомого с деревней свой и исполнен всякой благодати. Даже улыбка мелькала на лице Константина Сергеевича. За последнюю избой спускался овраг или «вершина» по-здешнему; там был Бирюков колодезь с прекрасною водою. Мы прошли и туда. Колодезь получил название по прозвищу хозяина крайней избы; его звали Бирюком – а почему неизвестно. Это был старик уже дряхлый; еще дряхлее была старуха его жена; детей у них не было, и они жили одиноко. Им не на кого было запасать и работать: про себя хватит; все работы, раньше чем у кого на деревне, всегда оканчивались у них. Так и теперь: чуть проглянуло ведро – и вся деревня, как по сговору, замолотила цепами, а здешние Филемон и Бавкида, как малые ребята, грелись у себя на заваленке. Жене надо было что-то спросить у старухи о лекарстве, за которым она ходила к нам во двор; я тут же познакомил и Константина Сергеевича с этою замечательной на нашей деревне четою. Хозяева благодушно вступили с нами в беседу и просили еще зайти к ним в дом. Не отказался Константин Сергеевич, мы зашли. В избе, в углу под образами, уже был накрыт стол. Хозяева просили переломить с ними и хлеба «из нови». У Константина Сергеевича завязался с Бирюком разговор о грамотности и о книгах. На его вопрос хозяину: «грамотный ли он?» Бирюк отвечал о себе отрицательно, но распространился о своем отце: отец не только был грамотен, а еще и большой начетчик, книг у него было много всяких. Когда сын наследовал отцу, то получил от него между прочим, говоря нашим языком, целую библиотеку; а как выразился сам Бирюк: «такие вороха книг – пришлось под них отвести целую клеть». От пожаров ли, от многих ли переездов, книги у него пропали. Я, признаться, мало смыслил в письменной народной литературе, и перечисляемые книги не очень меня занимали. Но Константин Сергеевич долго расспрашивал о затерянных книгах. Хозяин

многие называл по заглавиям; в некоторых из них Константин Сергеевич, кажется, угадывал знакомые для себя. Поблагодарив хозяев за их хлеб-соль, мы пошли назад деревней, и они нас провожали. «Хлеб да соль великое дело, – сказал нам Бирюк на прощаньи, – хлеб да соль соючает». Это самое присловье имел он обыкновение повторять всегда и на барском дворе, при мирском угощении по разным случаям.

Дома нас ожидал завтрак; а после завтрака мы вышли пить чай – не на балкон или на террасу, чего тут и в заводе не было, а прямо на крылечко. Перед ним расстилалась широкая луговина, а вокруг ее росли столетние дубы и липы с густым и разнообразным подлеском. В течение целого лета здесь ворковали горлицы, раздавался живой напев иволги, соловьи любили гнездиться в здешнем орешнике; вообще всякой певчей птицы было много. Теперь, осенью, только одни дрозды чокали и перелетывали по ветвям. Но день был знойный, и чай на крыльце, как нельзя более, подходил к тогдашней погоде. Не столько, впрочем, за чаем сидели мы, как просто любуясь тихой солнечной погодой, и долго длилась тихая беседа – всё о том же.

Свою прежнюю мысль, высказанную мне еще вчера о том, что неуничтожимость духа представляется ему не только объектом веры, а даже требованием рассудка, Константин Сергеевич развивал теперь не только философски, но еще богословски. Не считая себя даже вправе касаться теперь тогдашних его богословских определений, скажу о том лишь в общих чертах. Он знал Священное Писание не со школьной скамьи и не в ту лишь меру, как требуется школьным «Законом Божиим», а живым знанием и ежедневным изучением Писания в течение целой жизни. Всякого, кто только в разговоре с ним касался богословских предметов, он истинно удивлял меткостью суждений и свободой веры. Не было рабства букве, не было этой узкости от буквального понимания; но в то же время и удивительная чуткость нерушимости самого догмата – ни на иоту каких-либо отвлеченностей! Никогда его свободомыслие не переходило в



рационализм. Часто обращались к нему, прося разрешить какое-нибудь богословское недоумение или то и другое затруднительное место Писания. Он раскрывал такой широкий и глубокий смысл перед слушателями, и спорный предмет выставлялся перед ними в таком новом, прежде и не подозреваемом ими, свете, что всё недоумение рассеивалось, и все мнимые противоречия исчезали. И то было еще удивительно в этом «младенце на злое»: уж очень тонко понимал он все извивы людской лжи, донельзя отличал всякую кривизну души, в самые глубокие тайники ее нечистоты греховной проникал своим неумолимым судом. Так разве схимник или отшельник пустыни, постоянно бодрствующий на страже против всякого лукавства, глубоко проникает во всякую греховность, даже неуловимую для других. В младенчески-чистых душах это уж какое-то ясновидение для отличия добра от зла; оно – это нравственное ясновидение – им дается как дар Божий именно за подвижническую жизнь их. Вспомним стихотворение Константина Сергеевича «Лжедух»; тут глубокий материал для того, чтобы надивиться именно этой, если можно так выразиться, нравственной сензитивности его.

Гоголь в одном из своих писем, теперь уже напечатанном в полном издании его сочинений, допустил такое выражение о Константине Сергеевиче: «Этот человек болен избытком сил физических и нравственных; те и другие в нем накопились, не имея проходов извергаться. И в физическом и нравственном отношении он остался девственник. Как в физическом, если человек, достигнув тридцати лет, не женился, то делается болен, так и в нравственном (!?). Для него даже было бы лучше, если бы он в молодости своей..... (многоточие в печатном подлиннике). Но воздержание во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силы у него к духу. Он должен неминуемо сделаться фанатиком». Гоголь умер задолго до возмужания и кончины Константина Сергеевича. Нет ли здесь, в приведенных словах, немножко того, что зовут: с больной головы на здоровую? При усердии не по разуму и при

веригах не по силам, действительно, происходят болезненные пароксизмы духа и тела. Это те нервно-болезненные припадки, в которых менее всего обличается дух собственно так называемый. Эти пароксизмы составляют лишь законное возмездие и своего рода казнь именно за извращение свободного духа: ибо, во всех явлениях такого рода, собственно говоря, плоть прикидывается духом. Сам Гоголь, как известно, напоследок действительно «воздерживался от всех рассеяний жизни и плоти, и от этого все у него силы устремились»... только не к духу, к сожалению, а именно к фанатизму. Свобода духа и фанатизм – две вещи несовместные. Как нельзя сознательнее и свободнее относился Константин Сергеевич даже к своему «девственному состоянию», о чем говорится в этом печатном письме Гоголя. Были другие комментаторы этого состояния Константина Сергеевича; они прямо считали его каким-то платоническим идеалистом; сама уж природа у него такая, говорили, это его физиологическая черта, не больше. На этот счет и те и другие неправы. Это не было фанатизмом с его стороны ни в основе, ни в последствиях, как могли бы заключить иные из письма Гоголя; это не было и отсутствием подвига, как легкомысленно объясняли другие. Я посмел ему прямо это высказать тот раз во время нашей беседы. «Говорят, – сказал я, – что в самом организме человека заключаются иногда условия для девственного состояния его; иной человек таков уж от природы, в том нет и заслуги с его стороны. Что вы скажете об этом относительно вас самих?» – «Зачем так думать? – возразил он с живостью. – Даром человеку ничто не дается, достижение чего составляет нравственный подвиг. Это подвиг воли, и очень тяжелый». И столько же скромно, сколько гордо, он прибавил: «Я скажу, по крайней мере, о себе; нет, мне это не даром далось»; последнее было им выговорено с большим усилием.

Теперь прошло немало времени со смерти Константина Сергеевича, а, встречаясь с его знакомыми, приходится от них слышать и до сих пор: «Не правда ли, всякий раз как приводилось быть с Константином

Сергеевичем, после того приходилось и самого себя чувствовать как-то чище; как-то нравственнее делался с ним и нравственность чувствовал более обязательною для себя?»

В этот день он должен был и уехать от нас в Москву. Я не смел его удерживать: он и так потерял один день в напрасных странствиях с утра до ночи; а в Москве за него могли беспокоиться; кроме других близких там ждала его старушка-мать. Ему подали рессорный шарабан, легкий как перышко, к тому же еще и с пристяжкой: в час с небольшим, я ручался ему, он уж будет в Серпухове. Садясь в него, он даже попенял: «Зачем для него такие удобства?»; а для нас, признаться, всего было сподручнее отпустить именно этот экипаж в дорогу, так как всякий другой потребовал бы четверню или по крайней мере тройку. Молодой парень, кучер, отвезший его в город, скоро возвратился назад. Константин Сергеевич при нем взял почтовых и поехал в Москву. В одно слово со всеми домашними и кучер дивился теперь: «Уж очень добрый барин! Тихий такой! Нельзя и сказать, какой тихий». Оказался и тут, напоследок, один маленький эпизод, очень характерный в Константине Сергеевиче. Он в дороге расспрашивал кучера о шоссейных заставах и много ли их ему встретится на пути? Дело в том, что, не запасшись форменной подорожной, он переплатил что-то втрое на этих заставах; наконец, на одной из них, по выезде от Хомякова, взял квитанцию в полной уплате за весь путь до Москвы; но потерял этот билетик, искал его во всех карманах дорогою, не нашел, и ему теперь предстояли новые мытарства.

Памятное его посещение для меня навсегда осветило здешний уголок. Скоро я совсем покинул эти места. Живя в другом имении, случалось и по годам не заглядывать сюда. Но как только приходилось навестить эту местность, в душе возникали дорогие воспоминания о пребывании здесь Константина Сергеевича, с ясностью вчерашнего дня. Я до сих пор не могу очутиться на крылечке здешнего дома пред лужайкой,

окруженной вековыми дубами и липами, чтобы всё это прошлое не воскресло вживе.

#### IV

Больше я не видал Константина Сергеевича. Письмо за письмом от него – каждое становилось мрачнее. Он тяжело заболел, долго лежал без сознания, но выздоровел. Как мрачно уведомлял он меня о своем выздоровлении! Точно радуясь, описывал свою болезнь и отчаянное положение: «сидели надо мной; я замечал в беспамятстве, что и по ночам не отходят от меня», и после того как бы с горем добавлял: «но еще не пришло». Его сокрушало только одно: много задуманных работ осталось не исполнено; иное было лишь в черновых набросках; другое не было даже и вчерне занесено на бумагу. Особенно тяготили его неоконченные труды по русской грамматике. «Всё это я считаю своими долгами, – подтверждал он в одном письме, – я не имею права не выплатить этих долгов. Но прежней работы нет. Для того чтоб работать, нужно веселие духа. Его нет у меня». В это время он часто тосковал по одному и тому же вопросу: кому передать? Целое *направление* уносил он с собой в могилу. Он выглядел среди молодежи. Подрастающая университетская молодежь была предметом его заботливого внимания; он любил говорить с ней и об ней, спрашивал об университете; его постоянно интересовало: встречаются ли талантливые, выдающиеся личности между студентами?

В пятидесятых годах уж начиналось кривоблуждение мысли, потом расцветшее в *нигилизме*. Молодые люди, сходящиеся друг к другу на вечеринки не затем, чтобы пить вино и играть в карты, казались очень подозрительными такому «государственному деятелю», каким был граф Арс<ений> Андр<еевич> Закревский. Напротив того, люди, подобные А. С. Хомякову и К. С. Аксакову, очень интересовались в молодом поколении именно теми отдельными личностями, о которых слышно было, что сходятся они, как дерптские студенты и, по выражению дерптских

студентов, «развивать идею», а в карты не играют. Я живо помню одну из таких трезвых студенческих вечеринок в глухом переулке, в мезонине крошечного домика. Я уже тогда вышел из университета, но знал хозяина еще в университете, – курсами двумя он был моложе меня. Сюда, к простым беднякам-студентам, готовым решать все вопросы наотмашь и очень уж зараженным неверием, безверием и всяким всевозможных видов отрицанием, охотно приезжали «вести споры» и А. С. Хомяков, и К. С. Аксаков. Плоды этих посещений сказались много лет позднее, когда ни того, ни другого не было уж в живых; сказываются еще и в наши дни... Из этих родоначальников нигилизма и нигилистов ни один не попал в их ряды; напротив, то один, то другой всё более отворачивались от кривого пути и выходили на прямую дорогу; иные, прямо сказать, ознаменовали добрыми трудами свой путь; не все живы, а кто жив и сейчас трудится на прямом пути...

«*Направление!*» Как много страстных споров возбуждало тогда уж одно это слово... как, впрочем, и теперь. Мне живо припоминается юнейший, чистейший и честнейший, бледный с голубыми глазами поэт, только что кончивший курс в университете, спорящий с Константином Сергеевичем об самом этом слове: *направление*. «Помилуйте, – говорит он запыхавшись, – что такое направление? Избави Бог придерживаться какого бы то ни было направления! Раз есть направление, уж это односторонность! Истина дважды два четыре всегда истина – при всех направлениях и для всех направлений! Мое направление в том и состоит, чтобы не дать себя уловить ни одному из направлений!» О, юный, зеленый и молодой спор! Константин Сергеевич добродушнейшим образом доказывал юноше, что направление нимало не отнимает и не стесняет ни свободы воззрений, ни искренности веры; оно и служит компасом свободолюбцу, указывающим: что он свободно принимает и что отвергает, анализируя чужие мнения; ибо, прежде всего, оно и есть синтез его собственной аналитики. Константин Сергеевич мне как-то писал об этом

юном – и в годах самой цветущей юности скончавшемся – поэте: «У нас с ним было два серьезных разговора, которые, если не привели к окончательному результату, то подвинули много вперед. Я надеюсь, что со временем он будет согласен с нашими убеждениями. Он выслушивает, взвешивает, ищет доказательств, а это много и непременно доводит до результата».

Больше я не видал Константина Сергеевича. В сентябре 1859-го года было наше последнее, описанное здесь, свидание. Всю зиму он чахнул; весной и летом заболел так, что его отправили за границу; в том же 1860-м году он и скончался 7 декабря, вдали от родины, в Греческом архипелаге, на острове Занте. За границую первоклассные знаменитости, иноземные врачи, дивились чахотке и сухотке этого богатыря, умиравшего с тоски по своем отце; собственно, вся и болезнь его была в этом. Доктора не давали лекарств, не прописывали рецептов, советовали только развлекать его. Тогда Италия шумела именем Гарибальди; в ней пробуждалось народное движение, не советовали пускать туда, а указывали на какие-нибудь «увеселительные воды» или даже на Париж, советуя возить на разные гулянья, а если в театр, то исключительно в водевили. Но жить таким образом для Константина Сергеевича значило: не жить. Он уж умирал; последние остававшиеся средства, хоть для продления последних дней, медики свели на «теплый морской климат»... и вот он попал на остров Занте. Когда пароход вез его к этому последнему пристанищу, он с болезненной грустью глядел в волны и говорил своему неизменному спутнику, сопровождавшему его брату, Ивану Сергеевичу Аксакову: «Неужели, однако, уж и кончено? Как ни ожидал я, но чтобы так уж скоро, кто бы думал?»

На пустынном острове не было русского православного священника для исповеди больного; нашелся грек, едва говоривший по-французски. У этого-то грека и исповедывался умирающий на своем нелюбимом языке. Что за судьба?.. И, словно, еще не ирония ли с ее стороны?.. Никакой

иронии тут нет, хотя и знаменательно оно. Свободная вера Константина Сергеевича не знала ничего условного, и всякий фетишизм был ей чужд. Кто не понимал и не понимает, что можно снимать шапку в Спасских Воротах и креститься на золотые маковки Кремля и в то же время не быть фетишистом, – тот не понимай.

Грек, призванный к умирающему и спешивший попросту справиться с требу, был изумлен исповедью, причащением и кончиной столь необыкновенного человека. Самым простодушным образом выражал он свое удивление и недоумение; он просил: нельзя ли ему повидать всех близких этого человека и, главное, мать покойного? Ему хотелось ей передать – и если не придется лично, грек просил ей передать от него – праведник скончался! Еще не видывал исповедник примеров такой веры на земле. Он не прекращал своих расспросов: Да кто же это был? Кто это умер перед ним?

Ему отвечали, что это был Константин Сергеевич Аксаков. И что же можно было сказать больше этого?

*Подготовка текста О. Л. Фетисенко*